

1989 № 5 (29)

МАЙ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА, ПОЕЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,



РОДНИК

«АВОТС» [«РОДНИК»] ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНЬЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ТАТЬЯНА ФАСТ
РУДИТЕ КАЛПИНЯ
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

НАДЕЖДА РЯБОВА

ПЕРЕВОДЧИК

ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

РЕДАКЦИЯ ПРИНОСИТ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ПОЭТУ ТАТЬЯНЕ ЩЕРБИНЕ ЗА ДОПУЩЕННУЮ ТИПОГРАФИЕЙ ОШИБКУ В НАПИСАНИИ ЖАНРА ЭКЛОГА ПРИ ПУБЛИКАЦИИ ПЕРЕВОДА СТЕФАНА МАЛЛАРМЕ В ж. «РОДНИК», № 4 ЗА 1989 г.

ЛИТЕРАТУРА

Лиените Медне, Владис Спаре,
Юрис Звиргздиньш. «Ода комарам» (1)
Мара Мисиня. Стихи (10)
Современная поэзия Израиля (12)
Игорь Померанцев. «Возлюблённый» (14)
Иозеф Петерка.
«Студенческая одежда» (19)
Анна Ахматова.
Прозаические заметки (22)
«Одно стихотворение» (24)
Николай Кононов. Стихи (26)
Аркадий Бартов.
«В гостях у литераторов» (28)
Сергей Морейно. Стихи (30)

КУЛЬТУРА

Дайнис Бругис. «Памятник Доротее» (32)
Нормундс Науманис. Памяти
Сальвадора Дали (36)
Кристина Дуцмане. «От «керенок»
и остмарок до латов» (38)
Игорь Савостин.
«Шпаргалки сумасшедшего» (43)
Ралфс Вулис. Фотографии (44)
Юрий Цивьян, Юрий Лотман.
«Звук как элемент киноязыка» (49)

ПУБЛИЦИСТИКА

Вилнис Зариньш. «Философия
грабителей» (52)
Андрис Бергманис. «Размышляя обо всем,
что наше» (59)
Михаил Эдидович. «Еврей — минимум?
Еврей — максимум!» (62)
Юозас Урбшис. «Литва в годы суровых
испытаний 1939—1940» (68)

ЛИТЕРАТУРА

Юрий Панченко. «Евангелие
от Виктора» (73)
Александр Беляев. Стихи (77)
Леонид Могилев.
«Смерть кота Корovieва» (78)

ЛИЕНИТЕ МЕДНЕ,
ВЛАДИС СПАРЕ,
ЮРИС ЗВИРГЗДИНЬШ

ОДА КОМАРАМ

РОМАН

— Ты их понимаешь, а я нет. По крайней мере тогда, но и теперь тоже не понимаю. Ну, я думал, хотя бы в кино смогу пойти и увидеть что-нибудь этакое, — Петерис на мгновение замолчал, позволив Йоргену и Никлавсу понимающе кивнуть, Руута в полусне согласно покачивалась на кипе. — Ничего я там не увидел. Ничего! Они все вырезали, склеили вместе и смотрят сами. С утра до вечера! До одури! А мне — он ткнул себя пальцем в грудь — на мою долю они оставили самые выдающиеся и прогрессивные фильмы всех времен и народов!

— «Потемкина!» — Никлавс развел руками как пловец.

— Ха, ха, ха! — почти продекламировал Петерис. — Не угадал! «Кубанских казаков!» О той счастливой жизни сразу после войны, когда моя матушка ночами стояла в очередях за пачкой муки, и то по большим праздникам. Казаки! Кубань! Лошадки! Арбузики! Песни и пляски! Я смотрел это кино три дня подряд, до шизоты, вам говорю, до спазмов! Я и сегодня могу вам каждый кадр пересказать.

— Интересно! — протянул сквозь зубы Никлавс, — интересно... И вот ты взял и этот паспорт потерял?

— Паспорт? Смысл жизни я потерял! Веру в здравый разум, вот что я потерял! — вскричал Петерис и, опустошив поданную Никлавсом кружку, зачерпнул и выпил еще одну.

— И тогда ты и начал сочинять стихи? — Никлавс, вынув из вялой, обвисшей руки Петериса кружку, спросил так, будто это его действительно интересовало.

— Стихи? — Петерис обмяк, — поискал вшей в длинных, слипшихся, спадающих прядями на лицо волосах, в самом деле, что ли, тогда? — Ну да, наверное...

Руута раскрыла глаза — Петерис, добрый, хороший Петерис, он еще и поэт! — улыбнулась и снова прикрыла веки.

Этого нам только не хватало, — Никлавс тискал в руке алюминиевую кружку, кругом мычит телятина, воняет

навозом, а тут один еще вздумает стишочки декламировать, зайка маленький, котик удаленький, в самом центре Риги памятник стоит, снег идет и снег метет, маленьким детишкам мышка мелет сон, теперь только бы не заснуть, не сломаться, а то пробуждение будет ужасным, будет просто кошмар, сплошное дерьмо...

— Как они могут спать в своем же дерьме? — созерцательно, со скрытым отвращением протянул Никлавс. — Это все от цивилизации, все дерьмо от цивилизации, дикie звери никогда не спят в своих экскрементах.

— Здесь нет ничего ужасного, это естественно, — Руута переменяла позу и еще плотнее прижала щеку к коленям. — Когда я была маленькой, у бабушки всегда была коровка, и у соседей тоже. Мы их каждый день пасли, утром бабушка меня будила, и мы с соседкой Эди гнали их на пастбище, там была такая большая полянка, и внизу речка и всходило солнышко...

— И ты грела свои окоченевшие ноги в коровьих лепешках, — с трудом приподняв отяжелевшую голову, дополнил Никлавс.

— Откуда ты знаешь? — спросила, вытаращив глаза Руута.

— Надо читать классическую латышскую литературу. В детстве я часто болел — чтобы в школу не ходить, и все это прочел. Все было описано очень реалистически и убедительно, так что, торча тут теперь, между священными коровами, мне кажется, что я опять болен и обо всем этом читаю. Но где мое молоко с медом? — Никлавс вытянулся. — Всегда приходилось пить молоко с медом и пенкой поверх. Это была плата за то, чтобы не ходить в школу. И так всю жизнь, — Никлавс, склонив голову на грудь, задумчиво помолчал. — Только теперь я больше не пью. Не пью молоко с медом, и без меда тоже не пью. И вообще не пью.

Он гордо осмотрелся. Петерис мрачно уставился в ведро с вином, Руута спокойно посапывала, сгорбившись на кипе сена, с нею было все в порядке — все идет своим чередом, она едет вперед, мимо прудов, мимо ив, собачонка, хвост бубликом, трусит рядом, у коровок на шеях

(Продолжение. Начало в № 3)

венокки из ромашек, перекликаются пастушки и пастушки, маленькая Руутиня устраивается на пеньке и вяжет бесконечно длинный чулок, над головой кружат и жужжат оводы...

— Хватит дрыхнуть! Помогите кто-нибудь! — голос Йоргена прогнал прочь свежее утро, оставив только теплый дух стада и запах навоза. — Получите инвентарь!

— Чего, чего? — зашевелился Никлавс.

— Получите, говорю, полагающийся инвентарь! — пробурчал Йорген, выдирая из кучи сена резиновые сапоги, блекло-синие шуршащие халаты, мотки веревок, топоры и скребки для коров. — Бочки, ведра и лопаты в ваших вагонах, фонарики и гвозди в ведрах. Лом или кусок арматуры — чем двери открыть — сообразите на ближайшей сортировочной. Я себе уже подыскал — он показал короткий железный прут, который болтался наполовину воткнутым в засохшей куче навоза возле дверей.

— Телят надо кормить три раза в день, — с каждым словом Йорген все более входил в роль бригадира. — А вообще-то можно обойтись и двумя. Сена выдавать по кипе на две морды, но ничего страшного не будет, если на весь вагон раскидать кип пять-шесть. Одним словом, сколько сена сэкономите, столько в конце продадим. Только не надо слишком увлекаться, потому что если кормишь их только один раз, они ночью заснуть не могут, мычат, как недорезанные свиньи. Пойть надо тоже в меру, чтобы из них шла не жижа, а начнут сыпать таблетками — тоже нехорошо. В общем, если сжать дерьмо в ладони, оно должно быть мягким, как латгальская глина.

Никлавс презрительно скривил нос.

— Чего кривишься?! — вспыхнул задетый Йорген. — Здесь тебе не Сочи! — но ощутив, что тон взят слишком резкий, и только что сговоренная компания может и передумать, успокаивающе добавил:

— Будет хорошо! Все будет в порядке, ребята, это вам не китайская грамота... Позже покажу вам, как дерьмо перелопачивать и как легче поить. Главное, не подходить к ним тихо — надо крикнуть, позвать или похлопать по заднице, а то лягут с перепугу.

— Надевай! — он указал на халаты и протянул Рууте резиновые сапоги сорокового размера, в которых она, отерев о кипу сена прилипший к подошвам навоз, поместилась вместе с сандалиями.

— Тут уж ничего не поделаешь! — Йорген изучал подошвы остальных сапог. — На базе никогда нет маленьких размеров. У меня тут еще сорок четвертый, сорок четвертый и, ого!, сорок шестой!

— Давай сюда! — Петерис ухватил эту пару и, усевшись на пол, спешно освободился от своих туфель фирмы 1-мая, чьи сбитые каблучки и до толщины бумаги стершиеся подошвы повествовали о невнимании поэта к мирским проблемам и тошем кошельке.

Руута укутывалась в халат, полы которого волочились по земле. Йорген в наигранном отчаянии разводил руками:

— Ну что поделаешь, когда ничего другого нет! Что-нибудь да придумаем. У этих, в тех вагонах, остались какие-то сумки, может быть там что-нибудь из одежды согдится. А нет — отрежем ножом низ, а то очень уж... живое привидение.

— Мы пугала садовые, — с трудом втиснувшийся в халат Никлавс оглядел Петериса, у которого рукава нового обмундирования едва доходили до локтей. — Теперь мы все могли бы ехать по одному паспорту.

— Мы собратья по несчастью, — рассмеялся Петерис, натягивая, отогнув, рукава плотного джемпера на халат аж до подмышек. Взял лопату. — Ну, шеф, покажи, как надо! — «Агдам» вызвал в нем жажду немедленной деятельности. — Я тоже хочу кого-нибудь дерьмом одарить!

Петерис подошел к вагонным дверям, огражденным поперек двумя загонными жердями — чтобы, по словам Йоргена, телята не высыпались, и, опершись на лопату, высунул голову наружу.

— Меня в сон клонит — Руута уселась на кипе сена.

— Не надо бы... — стыдливо возразил Йорген. — Не хорошо людей навозом закидывать.

— Думаешь, не попаду? Думаешь, один ты, тренированным глазом... художник, да? А я вот сейчас докажу! Увидишь! — Петерис добрал до телят и принялсяковырять лопатой в куче навоза.

— Прекрати! — Никлавс пришел на помощь Йоргену. — В тебя же сейчас не стреляют!

— Нет! — зло вспыхнул Петерис. — Они не стреляют лишь потому, что нечем. Как только им дадут винтовки, они примутся стрелять. Они не смыслят чего можно, а чего нельзя. Они не понимают, что людям надо жить в мире и доверии, и за это они у меня сейчас и получают. Все, как один! Всю дорогу я буду осыпать их навозом, послушай, Йорген, мы будем долго ехать?

— «Агдам», узнаю... — Йорген со значением взглянул на Никлавса.

— А я от «Агдама», вообще от винчиков, делаюсь агрессивным, — потер руки Никлавс. — Я бы с удовольствием сейчас врезал бы кому-нибудь по морде!

— Шутишь... — Йорген немного отступил, вспомнив, с каким азартом новые компаньоны поглощали вино во время его лекции — кружку за кружкой — и вот вам и результат, начнет еще, в самом деле, кулаками махать.

— Ничего другого они не заслужили, устрицы, моллюски, улитки, инфузории, черви послушные, ух! Я им! — Петерис, размахнувшись, вонзил лопату в кучу. — Что они сделали с литературой? Испоганили! Блевать тянет от этой ихней литературы, так все правильно, прямо тошнит! А каким тоном? Самим, наверное, кажется, что они Толстые, Достоевские! Блевать на них! Ничтожества! А амбиции... раздулись, как жабы, как пузыри... Звонкая пустота, прав был Упитс, сто раз прав! Что они сделали с театром, о кино и не говорю, вообще с культурой? Все испоганили, все! Что, вообще, они понимают в искусстве? Баба с мешком овса в охапке, вот, что они понимают! И то — потому, что им в школе объяснили, что это — искусство! Сейчас я им покажу...

— Я им покажу соцреализм в действии! — Петерис грудью навалился на лопату, рукоятка с хрустом разломалась, и он приземлился на колени в навоз.

— А теперь они мне сломали ручку... — глаза Петериса наполнились слезами, как у ребенка, которого мимоходом обожгла крапива. — Скоро они всех нас до ручки доведут.

— Цирк! — рассмеялся Никлавс.

Йорген мрачно молчал.

— Йорген! — Петерис плюхнулся на кучу сена и зажал голову в ладонях. — Йорген, скажи мне честно, прошу, не ври! Я ведь кретин? Ты меня особенно не знаешь, но это же сразу можно определить: вот, идет кретин! Кретина всегда сразу видать, потому что он кретин.

— Никакой ты не кретин, — раздраженно отрезал Йорген.

— Но почему я тогда ничего не могу? Кретины никогда ничего не могут. Я никогда ничего не мог... Ничего!

— На вот, выпей и не психуй! — Никлавс успокаивающе протянул Петерису кружку.

— Я не могу выпить, я ничего не могу... — Петерис было отмахнулся, но передумал, схватил, как ворованную, кружку обеими руками и торопливо, громко булькая, выпил. За косматой бородой остро ходил кадык, и Никлавс, протянув руку за кружкой, представил себе зоопарк и змею, которую он однажды, объятый ужасом и отвращением, наблюдал в момент поедания белой, с тощим розовым хвостом, мышки.

— Я даже от вина отказаться не могу. — Петерис жалостно поглядел на Йоргена. — Ты, Йорген, можешь сделать надгробие, памятник на могиле. Ты ангел смерти, а я... Роман хотел написать, но даже плавать не научился, я могу утонуть... Я и на коньках кататься не умею. Меня учили, учили, а я упал и ушибся головой, и после этого в двух четвертях по математике были только двойки. Я и сейчас ничего сосчитать не могу. Я пробую, я стараюсь,

но у меня ничего не выходит, вечно все вкривь и вкось, и выходит кверху ногами. Когда ко мне домой в первый раз пришла девочка, а родители куда-то уехали, я уже все заранее рассчитал, но у меня ничего не получилось, потому что той девочке нравился другой... Ко мне она пришла, чтобы я помог ей сделать задание по математике. Это же издевательство над чувствами! Над чувствами живого человека... Вы думаете, я бы попал этим дерьмом в кого-нибудь, если бы проклятая рукоятка не сломалась? Ничего бы у меня не получилось, я опять что-то не так рассчитал бы... И если бы и попал, ничего бы от этого не изменилось, ничего в этом кретинском мире не меняется. Хоть сто лет их дерьмом закидывай, и все равно ничего не изменится...

— Не вешай нос, мы ведь уезжаем! Мы от всего этого уезжаем, будем полеживать, задрав ноги в потолок, а поезд — ехать себе и ехать... — успокаивал Йорген, у каждого своя чернуха, свои помрачения, разве он сам молодым не был, не казалось ему, разве, что все еще можно поправить: подтолкнуть плечом старый мир, и он вновь сядет на петли, разве не было и у него своих росистых рассветов и босоногих девчонок, мечтаний о высшей школе, о Риге, Риме, Париже... коленкой под зад, поездом на фронт, пешком обратно, хорошо хоть живым вернулся, руки-ноги на месте! Он протянулся и хлопнул Петериса по спине:

— Все будет хорошо, уж как-нибудь устроится...

— Стекла, стекла надо бить, оконные! Вены резать! — Никлавс трахнул кружкой по дну бочки. — Моя мутер вечно резала стекла и била вены, регулярно! Стекольщик был частым гостем в нашем доме. Среди соседей мы были популярны! Я сидел в кровати, я дрожал от ужаса, я трясся! А мутер, знай себе, стекла бьет и вены режет! Я бы смеялся, если бы это было не так ужасно... я орал! Что может быть смешнее, когда собственная мутер... — Никлавс стиснул зубы. — Потому вперед, сынок, только вперед! Стекла бить, вены резать, брызгать кровью, нечего истерики впустую устраивать! Конечно, это все не очень воспитано, хорошие детки так себя не ведут, остальным это портит аппетит, но ты не стесняйся! У Рууточки глазки уже закрыты, Йорген и не такое выдывал, а я... Уж чего-чего, а истерик я на своем веку насмотрелся! И писателей тоже! Так что вперед, не стесняйся!

Петерис жалобно шмыгнул носом и повалился на кипы сена, головой уткнувшись в бок Рууты.

— Я же хочу спать, — тихо выдохнула та, очутившись на полу.

Йорген взял Рууту под локоток и мимо меланхолично жующих телят подвел к куче сена:

— Забирайся наверх и устраивайся, там должно быть одеяло.

— Спасибо, спасибо, дядюшка Йорген! — Руута закабалась с краю наверх, тяжелые сапоги свалились на пол, на четвереньках она продвигалась вперед, нащупала колкое льняное одеяло, вцепилась в него обеими руками, потянула к груди, детство шло навстречу, она шла к нему, а впереди, помахивая хвостом, бежал теленок...

Никлавс курил возле дверей. Поезд, не глядя по сторонам, ненасытно пожирал километр за километром. Никаких истерик, никаких рефлексов — про себя улыбался Никлавс — бедная мама, впрочем, может быть, у того, впереди, у локомотива мамы и вовсе не было, сам собой родился в мир, безо всяких гамлетовских комплексов, перед каждой поездкой проверка, гемоглобин в норме, рефлексы в порядке, молоточком по коленке, цвета различает, алкоголь в крови не обнаружен, все в пределах нормы, все... А он сам? Торчит в открытых дверях вагона, куда-то едет, мимо тянутся поля, мелькают лесные опушки, впереди поезда открываются все новые участки пути, через реки переброшены мосты, как там у Верхарна? Поля, леса и так далее... И так далее, уж как-нибудь, как-нибудь все устроится само-собой, не так, так иначе... что-нибудь да будет, как там говорил Йорген... Что-нибудь да будет...

— Спи, — Йорген положил руку на плечо Никлавса. — Иди приляг, я двери прикрою. Чтобы какой-нибудь кретин не выпал. — Он оттеснил Никлавса в сторону, закрыл двери и замкнул их цепочкой.

— Я не хочу спать... — Никлавс уселся на кипе возле бочки, на дне которой печально дребезжали пустая консервная банка, обгрызанная горбушка елозила с краю, намереваясь свалиться на землю, и Никлавс, отломив от нее половину, выдохнул:

— Я еще выпью и закушу!

Ничего не ответив, Йорген прошел мимо него и, забравшись на сено возле Рууты, зарылся в него. С другой стороны бочки на двух сдвинутых кипах, скорчившись как нерожденный кутенок, похрапывал Петерис.

Через открытый люк на потолке, щель в двери, дыры в досках и узкие оконца в стенах лучи утреннего солнца прорезали воздух, заполненный суетой сенной трухи и беспокойным копошением животных.

— Йорген!

— Ну?

— Что вообще происходит?

— Не знаю... никто не знает... — помолчав, отозвался Йорген. — Поживем — увидим...

— Йорген!

— Йоргена нет! Господин художник спит... — он перевернулся на живот и уткнул лицо в локтевой сгиб, а когда господин художник выспится и освободится от этих телят, он вернется домой, и пошлет всех заказчиков, запретя в своем сарае и целый год будет работать. Он сделает что-то стоящее. Настоящую пирамиду Хеопса — только еще больше. Он поместит в ней всю свою жизнь и жизнь своего народа, всего человечества, космоса. Там будут и Млечный путь, первая и вторая мировые войны, чума и голод, атомные взрывы и костры с Джордано Бруно и Жанной д'Арк, Руута и оба эти лоботряса — разве же и в них не было, как в микеланжеловских рабах, своего трагизма? А он будет Моисей, в тоге созданных им законов, он будет сидеть и мыслить, куда вести свой народ, сорок лет они проскитаются по пустыням, море разделит свои воды пред ними и они пройдут через него, не замочив сандалей, и на земле обетованной их встретит созданная Йорженом пирамида — столь грандиозная, что весь народ повалится на колени, на летающих тарелках прилетят делегации иных галактик, а его, Йоргена, примут в Союз художников. Он откажется, будет капризничать, но те, конечно, не отступятся, будут рвать на себе волосы, в отчаянии выть и крутиться вокруг, пока не уговорят... и Йорген, художник Йорген, великий художник Йорген, погружаясь в сон, счастливо улыбался.

Никлавс повесил на гвоздь пиджак, закинул туфли в пустое ведро, устроился подле Рууты на сене и прикрыл глаза. Стук-постук, стук-постук, сколько стуков — считал он, медленно опускаясь в ледяную, безмолвную темноту сна без сновидений.

Сорвавшийся с привязи теленок подошел к бочке, пожрал остатки хлеба и, обнюхав ведра с вином, хлебнул из одного. Обиженно задрав влажную морду, потянул длинный шершавый язык к бороде Петериса, а задней ногой влез в полуопустошенное ведро. И приступил жадно поедать сено.

V

Дрожащими руками снимая с лица и волос клочья сена, Йорген переместился в сидячее положение. Вошедший сквозь узкое оконце, пологий, недвижный луч света протянулся через его ноги, вдоль вагона распространялись невразумительные — многократно отраженные — речи станционного диспетчера. Сортировочная, подумал Йорген, пробираясь по густопахнущему вагону сквозь требовательное мычание неокормленных телят. Оперевшись руками о края бочки, он сунул голову в воду, мгновение, задержав дыхание, понаслаждался прохладой, распрямился и позволил струйкам воды стечь по обросшему седой

шетиной лицу обратно в бочку. Потерев кулаками глаза, Йорген погрузил руки в воду и, вытянув губы, нагнулся — расталкивая клочья намоченного сена, в бочке плавали разбухшие комки навоза.

— А-а-а! — заорал он, выдернул руки из воды и принялся оттирать их полами халата.

— Дядя Йорген, что с вами? — с копны сена, точнехонько в свои сапоги соскользнула встревоженная, только что проснувшаяся Руута. — Вам плохо?

— Ах ты свинья! Скотина! — орал Йорген. — Ну ты у меня получишь, стерва!!

Он схватил прислоненную к стене метлу и, замахнувшись, ринулся вперед.

— Только не бейте, прошу вас, только не метлой! — Руута, отскочив, умоляюще протянула руки. — Пожалейте . . . Смилуйтесь . . .

— Как это не бить? Почему не бить? — Йорген остолбенев, опустил метлу. — За такие дела не только бить, а и к стенке ставить! Ты взгляни, что у меня с головой!

— У вас с головой все в порядке, все! У вас совершенно нормальная голова! — Руута всхлипывала, он сошел с ума, стал ненормальным, у него голова ненормальная, и теперь он тут всех перебьет. — Только не бейте, я вас прошу . . .

— Вот как?! — процедил сквозь зубы Йорген и зажал метлу под мышкой. — И что прикажете мне делать? Сказать спасибо и в морду поцеловать?

— Не надо спасибо и целовать тоже не надо! — Руута, карабкаясь обратно, споткнулась и поехала вниз, оказавшись, в результате, сидящей на кипе сена. — Все и так будет хорошо, только метлу опустите!

— В следующий раз шкуру спущу! — Йорген не глядя отшвырнул метлу и осторожно, двумя пальцами ощупал клоч склеившихся волос.

— Как вы вообще могли поднять метлу на незащищенную . . . — проследив стройный и плавный полет метлы, Руута вновь обрела смелость, — на слабое существо! И еще угрожать поцеловать и говорить, что морда! Что я вам сделала? Я всего-то спала, а вы меня ругаете такими ужасными словами и хотите бить метлой! Женщину! А еще вчера целовали мне руку и я думала: какой милый человек, такой сердечный . . . А теперь? Теперь вы ведете себя будто в хлеву находитесь! Нет, еще хуже! Я не знаю ни единого места на земле, где можно было бы произносить подобные слова! И на кого вы похожи?! Да у вас же все волосы в . . . в нечистотах! И вообще, я вовсе не то, что вы сказали . . . — Руута запнулась. — Я и не понимаю, что это должно означать, но все это было так ужасно!

— Но, милая барышня, я же . . . — Йорген внезапно осознал происходящее. — Я же вовсе не тебя одарил этими ужасными словами! Они были адресованы этой мерзкой, извиняюсь, рогатой говядине, — он указал на теленка, который смиренно лежал возле закрытых дверей, удовлетворенно прикрыв глаза и меланхолично жуя жвачку, — этой свинье проклятой, которая . . . которая испоганила именно ту бочку, в которую я сунул голову!

— Но почему?

— Что почему? — Йорген кулаком ударил по тощим чреслам ближайшего теленка.

Теленок поперхнулся — молчание его пресеклось словно ножом гильотины — и лягнул задней ногой воздух. С глухим стуком копыто врезалось в жердь загона.

— А зачем вы сунули голову именно в эту бочку? — Руута энергично встряхнула нечесанными волосами. — Вы сами суете голову в помой, а после этого остерите весь мир! А когда вы еще и метлу схватили, я вообще перепугалась!

Йорген сдвинул вместе каблуки, взялся обеими руками за отвороты фланелевой рубашки, у которой недоставало двух пуговиц, и повинно склонил голову — будто оправдываясь перед женой за пропитый аванс и перепачканный губной помадой галстук.

— Да! Да, теперь я понимаю, что вы нападали вовсе не на меня, я очень извиняюсь. — Руута, нежно прижав руки к груди, продемонстрировала Йоргену его собственные выражение лица и достойную индийской мелодрамы

позу. — Я извиняюсь, что подумала о вас плохо. Что вы могли наброситься на женщину с метлой.

— Ничего, ничего, — Йорген согласно кивнул — Я же только хотел слегка надавать по заднице этому негодяю.

— Нет, нет. Не говорите так! Вы этого вовсе не хотели! Это было помрачение ума! — взволнованный голос Рууты стер улыбку с лица Йоргена, — ведь нельзя бить ни единую божью тварь . . .

— Но когда такой телок берет и специально . . . — Йорген, подыскивая более-менее пристойное определение содеянному, приумолк и зло ударил ногой по круглому боку бочки.

— Вы хотите сказать, что теленок специально справил свою естественную надобность в бочку? — Руута вопрошала голосом, с каким следователь обращается к обвиняемому, будучи абсолютно убежденным в его вине, желая лишь, для порядка, получить подтверждение.

— Конечно, специально! К тому же — Йорген коварно прищурился, позволив морщинкам вокруг глаз образоваться схожий с паутинкой орнамент, — там же целых четыре бочки. Так нет же! Надо ведь было сообразить, чтобы наложить именно в эту!

— В ту, куда вы потом сунули голову?

— Ну да, — Йорген, сочтя разговор исчерпанным, нагнулся над еще полными ведрами с вином.

— Дядя Йорген, — Руута хлопнула в ладоши. — Да вы, вообще, понимаете, что говорите? Ну как несмысленная тварь божия могла предвидеть, в какую именно бочку вы сунете голову?

— Не надо их недооценивать. Я, милая девушка, с телятами третий год мотаюсь. Сама увидишь, какое свинство они нам еще устроят! Это еще мелочи в сравнении с тем, на что они способны, еще увидишь . . . — Йорген зачерпнул вина и, откашлявшись, выпил, крикнул, утер рукавом халата губы и добавил:

— Вообще-то я сегодня слегка нервничаю . . . Всегда себе говорил: Ансис, не принимай решений, пока не похмелился! И верно! Когда я все теперь спокойно обдумал, то, в самом деле, приходится признать, что во всем виноват сам. Нужно было сначала опохмелиться, а не мчаться сломя голову к этой чертовой бочке. Если бы я сначала хорошенько хлебнул разок-другой, тогда бы осмотрелся и этого чертова теленка просто и красиво обвел бы вокруг пальца. Я бы сунул голову в другую бочку, а тебе вот, фигушки! — Йорген удовлетворенно засмеялся и хлопнул ладонью по колену. — Похмелье проклятое! Это еще хуже, чем пьянство. Мой друг юности в войну почтальона с похмелья застрелил. Он его спутал с любовником своей жены. И все только потому, что похмелиться не успел. Его не смутили даже ни сумка почтальона, ни номер «Тевии», который несчастная жертва старалась ему перед смертью вручить, ни слова «Почтальон я, почтальон!» Мой приятель только переспросил «Ах, почтальон?», а тот, бедняга, ничего умнее не мог придумать, все только повторял «Почтальон я, почтальон . . .» Приятель сквозь зубы и протянул «Знаем мы эту амурную почту . . .» И весь заряд бедняге в пузо. Со словами «А все-таки — почтальон» и номером «Тевии» в руке он и преставился. Ну, мир праху его, почтальона этого!

Йорген задумчиво побултыхал в ведре и протянул Рууте полную кружку. Она скривилась и отрицательно махнула рукой.

— Нехорошо, мадмуазель Руута. Неправильно отказываться выпить за ушедших на вечный покой. — Йорген покачал головой. — Сколько песка, торфа и камней покрывает могилы невинных людей, сколько таких могил я видел. Сколько их — почтальонов, электриков, железнодорожников? Миллионы! Они хотели лишь разнести свою почту, чинить утюги, водить поезда до Даугавпилса и обратно . . . а их заставили воевать, стрелять друг в друга. И стреляли — почтальоны в электриков. И ставили к стенке — электрики железнодорожников . . . Миллионы . . .

Руута героически подняла кружку и выпила, чтобы тому, застреленному весной сорок четвертого года, почтальону



РИСУНОК ЗОИ ФРОЛОВОЙ

земля была пухом. Кто теперь вспоминает этого почтальона? Йорген его никогда не видел, не знает даже ни как звали, ни сколько ему было лет, ни как выглядел... И я могла прожить всю жизнь и так и не узнать... не узнать, что он был такой... Так все мы живем и ничего друг о друге не знаем. И Йорген не знает ничего о моем братике, который умер и дня не прожив, а имя ему дали после смерти, лишь после смерти... Сколь безжалостна, все же, жизнь, — вздохнула Руута — хорошо хоть существует надежда, что есть спасение — там, в вечности, там все мы встретимся! Там никто не спутает почтальона с электриком и у маленького Эдуардика не отнимут детство, он будет сидеть на краешке облачка и держать в руке ярко-желтую пластмассовую погремушку, которая будет звучать ясно, как колокольчик, и мимо пройдет почтальон, погладит Эдуардиньку по головке, пороется в своей сумке, заполненной «Тевией», «Циней», «Новейшими Известиями» и достанет сахарного петушка. Эдуардинька будет лизать петушка, трясая своей чудесной погремушкой, и длиться это будет вечно и не окончится никогда...

Кто-то стукнул снаружи в двери вагона, и громкий голос прервал Руутино переключение на христианство — которое из ее сознания не смогла вытравить никакая восточная религия, поскольку в детстве, перед сном тонкие и сухие губы бабушки регулярно и настойчиво шептали ей в ухо: Эдуардик-братик там, наверху — у милого боженки. Он сидит на краешке облачка и счастливо улыбается...

— Эй, вы там окозели? Воды не надо?

— Надо, надо! — всакивая на ноги, крикнул Йорген.

— Подъем, ребята! — он принял надежду тумачами Петериса, спавшего отчасти на полу между кипами, одну из которых — выжав рыжеватую бороду в разворошенное теленком сено — он обнял двумя руками.

— Где мы? — сухо проскрипел Никлавс, сжимая кружку, которую ему, как заботливый санитар военно-полевого госпиталя, поднес Йорген.

— Водопой, — отмахнулся Йорген, поднял на ноги прикорнувшего в углу теленка и, схватив того за недоузок, ругаясь про себя, отвел на место.

— Йорген, у тебя дерьмо в голове! — Петерис, мелко смеясь, трясся на расплзавшейся кипе сена.

— Знаю, — мимоходом отозвался Йорген, оттаскивая в сторону дверь вагона. — Иди помоги: надо наполнить бочки и посмотреть что в тех вагонах.

Двери, резко визжа, скользили по поржавевшему рельсу. Вместе с волной свежего воздуха в вагон ввалился шум товарной станции: переключки работяг, свистки локомотивов и стук колес длинных составов — подняв в воздух клубы сеной трухи и высохшего навоза. Пыль мельтешила на свету, подобно толпе мелких комариков, почти как в детстве, когда Руута с соседскими мальчишками в счастливом упоении скакала по только что завезенному в сарай сено, а внизу, опершись на грабли, улыбалась бабушка.

— Опустошай бочки! — Йорген тяжело спрыгнул на опилки насыпи. — Я кишку притащу.

Никлавс и Петерис подтаскивали к дверям громадные бочки, которые, угрожающе кренясь, выписывали резкие отрывистые змейки, стремясь опрокинуться и окатить обоих склизкой водой. Когда через край вылились — вместе с мусором и нечистотами — последние ручейки, оба переглянулись.

— За это мы заслужили по стакану красного вина и переходящее красное знамя. — Петерис смахнул с носа капельку пота и отошел к ведру.

— Когда я учился в шестом классе, мы тоже получили переходящее красное знамя. — Никлавс шумно прихлебывал вино. — Мы были тимуровцы и кололи дрова одной старушке, у которой была в голове дырка, крупнее, чем пятикопеечная монета. Если в дырку посмотреть — мозги видно, и старушка нам постоянно говорила, что до первого весеннего грома лежать на земле нельзя.

— Он этой тегушке что, прямо в голову ударил? — Руута всплеснула руками.

— По правде сказать, — Никлавс, взобравшись, как жо-

кей, на бочку, кивнул Петерису, чтобы тот зачерпнул ему вина, — по правде, я думал, что ее, наверное, лягнул конь, когда она лежала в поле до этого самого первого грома. Если бы это была молния, старушке бы конец настал тут же.

— Но, Никлавс, какая тут связь с громом? — Руута машинально приняла переданную Петерисом кружку с вином и, выпив, мгновенно напряженно думала. — Разве после первого грома конь уже не мог проломить ей голову?

— Если бы он лягнул еще раз, после грома, то мы вряд ли получили бы это переходящее знамя. Двух ляганий даже молодой бы не выдержал, куда уже старушке, — Никлавс засмеялся. — К тому же, я не слышал, чтобы среди животных попадались столь злобные и садистически настроенные экземпляры.

Смешок Петериса впился Рууте в ухо, словно ржание выпущенного на травку по весне жеребца, и она обиженно отвернулась.

— Хватит ржать, — Йорген, просунув в вагон голову, на которой, как павлиний хохол, топорщились слипшиеся волосы, протянул Петерису шланг, из тела которого тут и там в воздух впились коротенькие сверкающие фонтанчики. — Поставь бочки на место и наполни водой, а мы с Никлавсом сходим в те вагоны.

— Такая уж у меня судьба, — бормотал Никлавс, вместе с Йорженом раздвигая двери соседнего вагона. У кого коня нет, ржать самому приходится.

Пока Никлавс опустошал бочки, на дне каждой из которых плескалось не более полведра дурно пахнущей воды, Йорген обошел ряды телят: слава богу, никто на своей привязи не удавился, рогов не обломал, соседке глаз не выбил.

Они наполнили бочки, отдали брызгающийся шланг вынырнувшему из-под вагона лысому мужику, одиночно вонявшему как целый свиначник и, встав в дверях вагона, ощупали карманы на предмет курева.

— Ладно, приступим! — Йорген, еще пару раз жадно затянувшись, отшвырнул сигарету и, перегнувшись через жердь, втащил в вагон Рууту, со всеми ее с нею несоразмерными сапогами и двумя только что сплетенными жиденькими, лежащими на высокой груди несуразно тощими косицами.

Петерис неуклюже перемещался с лопатой между телят, хватавших его за полы халата и пихавших рогами в бок.

— Убери копыта! — время от времени покрививал он. — На ноги не наступай, телятина! Не тычься!

Вдалеке засвистел локомотив. Крайний теленок отступил, резко дергнул головой вверх, выдернул скобу из стены, вытянул шею, с силением втянул через ноздри воздух и с криком «Мууу!» ринулся вперед.

Корма Петериса пришла аккурат между рогов, он кубарем отлетел к двери, вцепился в горизонтальную жердь, сделал — как на уроке физкультуры — полный оборот вокруг нее — впервые в жизни, между прочим! — и по инерции и с разгону взмыл в воздух. Та же самая инерция вышвырнула на волю и теленка, который, как черный пояс карате, в прыжке разгромил передними копытами попередину, заодно прихватив с собой вцепившегося ему в хвост Никлавса.

Йорген спрыгнул сам.

Одним махом — все четыре ноги в воздухе одновременно, хвост реет как знамя — телок перескочил соседние пути, плюхнулся на пологую насыпь, вскочил, и копыта его засверкали.

Телок, Петерис, Никлавс, Йорген, будка стрелочника, цистерна с нефтью, дорога, луг, поляна, кусты, ольшанник, опять поляна — все стало единым, как бесконечная связка сосисок. Дома железнодорожников: синие, голубые, небесно-голубые, фиолетовые — словом, крашенные той частью спектра, которую можно стянуть из железнодорожных мастерских, и одинокий, посреди поля тюльпанов, неким технологическим что ли ураганом сюда перемещенный, Ливанский домик.

В небеса с вишен взмыла стая скворцов — а мы что, мы ничего, и косточки мы выплевываем; невразумительной формы шляпа пугала с перепугу съехала на нос; у соседнего дома, стоящая возле серебряного оленя, серебряная же теннисистка ракеткой пытается отмахнуться от взбешенного чудовища и полоумно несущейся за ним оравы.

Скачка продолжается: магазин, Лония выскочила на улицу, столовая, толстая Марта только голову высунула, обе переглянулись — конец света грядет или, быть может, это к выпивке? — и одновременно сунули под языки по таблетке валидола.

Дома, дворы, ворота, почтовые ящики, на каждом — название дома: Suselnieki, Pušelnieki, Nagpalaižas, Godavīri, Grābstīklī, Suskas, Budži, Plikadidas, а после — Lāčplēši, Kokneši, Lielvārži, Kangari, Mazkangari, Lielkangari, Jaunkangari, Kaupēni.

Галопом через шоссе. Там Purapuķes, Upiši, Niedras, Krogzemji, а за ними Indrāni, Brīviņi, Straumēni, в старой корчме под одной крышей Medņi, Spāres, Zvirgzdāņi и далее — пустое, изрытое мелиораторами поле, сдвинутая бульдозерами гряда древесных стволов, как это теленок продрался сквозь них, как никто из преследователей не сломил себе шею?

Пруд! И теленок бросился через него — в воздухе взорвались водяные брызги, во все стороны полетела рыба с выпученными глазами. Теленок фыркал и, переваливаясь с боку на бок, как тяжело груженный корабль, плыл. Петерис плавать не умел, Никлавс уже просто не мог, Йоргену на сегодня водных процедур уже хватило — и они обежали пруд кругом.

Теленок стоял и спокойно жевал декадентский стебель белой водяной лилии.

«Мясо засолить, а шкуру — на шест!» «Котлеты, фарш смолоть, хлеба добавить и котлеты!» — речи Никлавса и Петериса были исполнены жажды мщения.

— Дурак-телок, что такой соображает, — успокаивал Йорген. — Каждому попрыгать хочется, каждому погулять охота. И так уж прочь с родины везем. А там, в Казахстане...

Йорген достал из кармана моток веревки, привязал теленка за шею и шлепнул ладонью по загривку. Тот последовал за ним послушный, как собачонка и нежный, как барашек. Жужжали комары.

Руута кинула мокрому беглецу большую охапку сена.

— Толкай взад кому не положено! Если что — по морде! По морде! Кулаком! — Йорген наставлял Петериса, который, задрав лопату над головой, протискивался между двух телят. — И не опускай голову так низко, а то рогом в глаз, увидишь тогда...

— Ему это что, — пыхтел Никлавс, волоча два полных ведра. — Ему лошадь уже давно остатки соображения из башки долой, он поэтому ни на что уже не надеется, в славу не верит, только в деньги. В наличные, так сказать. По правде, я тоже не верю. И давно. Мы банк хотели ограбить, даже план разработали, только в самом конце...

— Вы оба ни о чем другом вообще говорить не можете, только о деньгах! Никакой духовности, один голый материализм! — Руута, срывая голос, выкрикнула из-за охапки сена. — Ну, если вам уж так хочется что-то украсть, ограбили бы какой-нибудь музей, хотя бы: картины, духовные ценности...

— А у этой девочки головка работает! — одобрительно отреагировал Петерис.

— Колоссальная идея! — перегнувшись через бочку, добавил Никлавс.

— Никакая головка у меня не работает, и нет у меня никаких идей! — Руута отшвырнула сено и обернулась за поддержкой к Йоргену. — Я только хотела... Я категорически запрещаю вам грабить музей! Я только хотела показать, что даже в таком деле, как грабеж, духовные ценности у вас на последнем месте!

— Ну, вот уж нет! — протестовал Никлавс. — Мы однажды уже хотели слегка придушить одного старого букини-

ста, у него была отличная библиотека. У тебя бы глаза повывлазили, все стены сплошь в духовных ценностях... Но мы этого не сделали.

— Да, — печально вздохнул Петерис. — Это дело мы до конца не довели.

— Кары испугались? — иронично осведомилась Руута, отвернувшись от Йоргена, который, не вслушиваясь в разговор, совал теленку под нос ведро с водой.

— Нет! — радостно отозвался Никлавс. — Просто нам стало эту старую развалину жаль. И что ты, человеке, поделаешь с этой проклятой жалостью? Сколько красивых идей и планов рушится из-за какой-то сопливой жалости. А что поделаеть, если нож засти не можешь? Нам бы этот карабин твоего дедушки...

— Оставьте в покое моего дедушку и его карабин! — Руута зло пнула ногой навозную кучу. — Как вы оба можете быть такими противными и грубыми? Вы же просто чудовища!

— Что же ты тогда едешь с нами, раз уж мы такие ужасные? — не без любопытства осведомился Никлавс.

— Я с вами еду потому, что вы не знаете, что делаете и куда едете! Потому! — она мгновенно помолчала. — И еще потому, что, по правде говоря, не хочу идти домой. Я никогда не хотела идти домой. Даже когда была совсем маленькой и ещё не жила у бабушки. У нас темная и сырая подворотня, и такая же темная и сырая лестница, и такая же темная и сырая квартира со входом через кухню...

Дверь кухни разбухла от влажности и всегда, поэтому, стояла полуоткрытой. Свернувшись в постели под ватным одеялом, Руута слушала, как на лестнице постепенно затихают шаги матери... из норы, волоча длинный хвост, появилась крыса и направилась к мусорному ведру. Что она могла там найти? — картофельные очистки и салачьи кости — но ковырялась целый час, обнюхивала шуршащие бумаги, сворачивала и разворачивала обертки, драла их когтями и зубами, голодно чавкая ела... ушла под раковину, доски там прогнили от постоянно капающей воды, поднялась на задние лапы и ловит падающие капли, долго потом вылизывается и умывается, победоносно глядя на Рууту — ты мне сделать ничего не можешь, ничего, ты меня боишься! Это была правда. Правда! Руута боялась. Не в силах отвести взгляд от красноватых глаз крысы, она теснее сжимала худенькие коленки и ждала, когда наступит тот момент... А он наступал каждое утро — мучительный и неотвратимый. Рууте надо было выйти, очень надо было выйти, а в середине кухни сидит на корточках крыса, и Руута терпит до последнего момента, зная, что там — полуэтажом ниже, возле сухого туалета — кто-то уже нетерпеливо переминается с ноги на ногу, дожидаясь своей очереди...

Они суетились по вагону, толкаясь, мешая один другому, стуча кулаками в стену; вода и принесенный теленком-беглецом аромат свободы взбудоражил телят, и они бодались, наступали на ноги, опрокидывали ведра и, приняв от Рууты сено вместе с ее мягкими приговариваниями, внезапно успокаивались, трясли ушами и, удовлетворенно поспивывая, приступали жевать.

Усталые и взопревшие, с сеном в волосах и мокрых ботинках они, через несколько часов, выбрались из последнего вагона и, выпачканные в навозе до подмышек, пришаркали на насыпь перекурить.

— И так все время? — в отчаянии спросил Никлавс, влажными и опухшими пальцами тщетно пытаясь извлечь сигарету из протянутой ему Петерисом пачки «Примы». — Каждый день?

— Э-э, потом будет легче, — поспешил успокоить Йорген. — Так круто было потому, что к бедным животным два дня никто не подходил. Если не позволять дерьму скапливаться и пить каждый день, то делать вообще нечего. Часок, максимум — полтора утром и вечером, а остальное время — болтай ногами и покуривай. — Йорген улыбался так, словно речь шла о двух партиях в карты: а ставки всего-то по пяти копеек за очко, разве ж много?

Петерис, тщательно установил локоть между двух ку-

сков щебня, сонливо оглядывал окрестности. Три их вагона, отцепленные от остальных, были загнаны в тихий, порошай травой тупик. За спиной, через рельсы, размещалось капустное поле, а перед ними — ольшанник и ивы превращали пастбище во вполне натуральный, вполне приспособленный для охоты на лис Шотландский пейзаж. Вон, болтая рыжим хвостом, молнией пронесится лисичка-сестричка, а за ней с лаем — свора длинноухих и лохматых псов, рога трубят, в зеленых ливреях слуги, амазонки во главе с Руутой, Йорген, Никлавс и он, Петерис, привстали в стременах, серебряные, украшенные чеканкой фляжки с ромом — или кларетом? — болтаются возле поясов, все кричат: Цуй! Цуй! — вперед, вперед! Приглядываясь тщательно, можно было — за плакучими ивами — разглядеть и потемневшую, вполне удачно вписывающуюся в шотландский пейзаж черепичную крышу.

— Иди, поддержи кишку! — пока Петерис предавался охоте на лис, Йорген успел отнять у дурно пахнущего мужика незадолго до этого культурно предоставленный тому источник воды и теперь, почти бегом, возвращался с трофеем. — Я голову вымою. А ты пойдй посмотри: в том вагоне у этих-самых оставались какие-то сумки. Может тебе что из вещей той девицы подойдет, — он ободряюще кивнул Рууте. — И вообще, устраивайся там и живи. Ты с Петерисом поедешь или с Никлавсом?

— Я не знаю... — Руута, покраснев, пожала плечами, у Никлавса такие сильные руки и красивые коричневые глаза, а Петерис... такой одухотворенный... печалью обзаятый... стихи пишет.

— Ну так езжай с Петерисом, — решил Йорген, Никлавс выглядит поделовее, он и в одиночку справится, как я. Силенок тоже, вроде, побольше, чем у того кузнечика долговязого.

— И сколько мы тут стоять будем? — спросила Руута, пятась к вагону.

— Это никогда не понять, — отозвался Йорген, фыркая под ледяной струей. — Я думаю, тут какая-то телячья база, и к нам, скорее всего, прицепят соседей. Так что — какое-то время постоим. Никлавс, взгляни, пройдишь вдоль рельс, может отыщешь кусок арматуры — в твоём вагоне двери заложить...

Сделав пару шагов, Никлавс нагнулся и поднял кривой, поржавевший металлический прут и оценивающе повертел его в руках. Мимо прогрохотал длинный товарняк, через мгновенье, тихо покачиваясь, стал приближаться пассажирский скорый. Вагоны, казалось, пронесутся вплотную, Руута бессознательно отступила к дверям телячьего вагона и зажмурила глаза. Взглянув, чуть погодя, сквозь прищуренные веки, она увидела валяющееся с небес темное тело.

Оно выбило из рук Петериса шланг, из которого главу Йоргена орошал поток воды, сбило с ног самого Йоргена и упало к ногам Никлавса, который стоял строго — как средневековый рыцарь с пикой — сжимая в руке длинный ржавый прут. Никлавс замахнулся и так и замер с ломом над головой: у его ног стонал, сжавшись в комок, человек. Человек простонал, медленно перевернулся на спину и, увидев над собой занесенное железо и человека в грязных резиновых сапогах в развевающемся замаранном халате, слабо вскрикнул:

— Это не я, не я! Я не дергал стоп-кран! Я сам выпрыгнул, сам!

— Фамилия? — заорал Никлавс, дружелюбно поигрывая холодным оружием.

— Амम्म... мммм... — бормотал упавший с небес.

— Имя? — энергически допытывался Никлавс.

— Роландс.

— Отчество?

— Без отчества, без отчества...

— Пол?

— Му-му-мужской...

— Социальное происхождение? — не унимался Никлавс, железо надо ковать пока горячо, из ситуации надо выжать все, на что та способна.

— Из графьев... династия Габсбургов... последний отпрыск... Роландс Анспок фон Габсбург. Да, фон Габсбург, хотя по паспорту только Анспокс... но это только так... по паспорту...

— Еще один кретин! — рассмеялся Никлавс, опуская прут. — Вставай! И рассказывай все по порядку!

Петерис, справившись, наконец, с дрыгавшимся по своему усмотрению шлангом, качал головой: вот так, наверное, и выглядел Икар, на одном краю поля пашет, не поднимая голову, крестьянин, а этот планирует вниз с распростертыми крыльями, без парашюта, никакой техники безопасности в помине...

Йорген злобно рычал на четвереньках в луже воды — прыгать на людей, которые не мешают никому, моют себе спокойно голову... и удивленно уставился на Рууту, которая, самостоятельно вскарабкавшись в вагон, зачерпнула и несет кружку вина — у того, рухнувшего, шок наверное, ему надо выпить крепкого, а выпить не захочет — так раны промыть.

— Я сейчас, сейчас, понимаю, вы из органов, все, все сейчас расскажу... — Последний отпрыск династии Габсбургов зажал между коленями дипломат, до того — судорожно сжимаемый в руке.

— Что в портфеле? — войдя в роль, продолжил допрос Никлавс.

— Зубная щетка, зеркальце... эээ... нижнее белье, носки, расческа, мелочь всякая еще. Ничего предосудительного, верьте мне, никакой литературы, ничего антигосударственного, только предметы первой необходимости, я вам все-все сейчас покажу... Я простой рабочий сцены. В опере. У меня никаких связей, я не связан ни с кем. Я совершенно несвязанный... несвязный... Я просто выпрыгнул из поезда, потому что в одном помещении с нею оставаться не мог!

— С кем «с нею»?

— С моей женой... бывшей. Я развожусь. Вчера я женился, а сегодня развожусь, потому что не могу ехать с ней в одном поезде, поэтому я выпрыгнул из окна. У меня не было другого выхода. Я — человек действия. Важно, как человек действует, а не что думает. Слишком много думать — вообще вредно. Думают те, кто не способен действовать. Я в любой ситуации моментально нахожу схему действий. Когда схема есть, остается действовать...

— Схема дальнейших действий, фон Габсбург, состоит для вас в том, что вы теперь с нами поедете — под чужим, разумеется, именем, так сказать, под кличкой — поедете на восток. Вы получите новый паспорт и не будете задавать лишних вопросов! — Никлавс руководяще помачал прутом.

— Так, все понял, не задавать вопросов, схема ясна!

— Паспорт вам вручит камрад Йорген, старший группы. Цель пока объяснена не будет. Когда это будет необходимо, вы получите инструкции. Пока вам, вместе со мной, предстоит обслуживать телят. Вы владеете карате?

— Не вполне... — Роландс, поднимаясь на ноги, виновато хлопал круглыми, ясно-голубыми глазами.

— А молчать вы умеете?

— Да!

— Внесите свои личные вещи в вагон номер три и разместите возле окна, с правой стороны. Там будет ваш пост. Начиная с сегодня — вы мой напарник.

Роландс послушно закарбался в вагон.

— Он что, совсем чокнутый? — спросил Йорген. — Придурок?

— Нет! — Никлавс оперся на кусок арматуры. — Он нормальный. Слишком нормальный, и это сразу бросается в глаза. И всегда. Он все воспринимает за чистую монету и не задает лишних вопросов. Это все в пределах нормы... дай ему паспорт, Йорген, пусть едет. Веселее будет.

Роландс высунул голову из вагона. Его крупный, мясистый, изрядно покрытый угрями нос украшали схожие с пересохшими водорослями пучки волос, высовывавшиеся из обеих ноздрей. Полоска кожи между очень мощными

бровями (что, видимо, компенсировало отсутствие растительности на подбородке) и довольно длинными волосами была прорезана глубокой, возникшей, вероятно, от частого умственного напряжения морщиной. Одной. Для двух на лбу места уже не хватало.

— А-а, пусть едет... — Йорген вытащил из кармана оставшийся паспорт и вручил его Роландсу. — На, парень, ты теперь у нас Петерис Маркевич.

— Ясно! — Роландс, прыгнув вниз, взял паспорт и, даже не взглянув в тот, сунул в карман черного, выпачканного свадебного костюма. На жилете не доставало пуговиц, над белым кружевным жабо — напоминая крупную прихлопнутую муху — косо болталась темно-зеленая бархатная бабочка. На пальце блестело широченное, очевидно мучительно натиснутое на безымянный сустав кольцо 583 пробы.

Роландс стоял в дверях вагона, глаза его лихорадочно блестели, казалось — он готовится ко второму прыжку из идущего поезда, широкий, тонкогубый рот его беззвучно двигался — ты у меня еще пожалеешь, ты сказала, чтобы я провалился и я исчез... ты бы хотела стоять возле моего гроба, красиво проливая слезы молодой вдовой... хотела бы, а вот тебе фигурки! — он протянул в направлении ушедшего поезда большую костлявую фигу, мысленно написал мелом на доске имя «Инта» и стер его мокрой тряпкой, тем самым вычеркнув эту Инту из числа живущих на планете. Нет и не надо, и вообще — ничего и не было, схема ясна!

VI

— Родился он в Италии, в бедной семье, и лишь усердием и прилежанием выбил в люди, — бодро, временами поглядывая на слушателей: внимательны ли? — повеествовал маленький седой старичок. — Как же его звали... нам еще лекцию читали... Лоретти, скажем. Так вот, садится этот Лоретти однажды в почтовую карету, машет на прощание своей солнечной родине платочком и трუსит через всю Европу. Из Италии едет в Вену, там заболевает тифом, из Вены едет в Зальцбург — подхватывает там холеру — но выживает, однако, не хоронят его, как Моцарта в общей могиле, едет дальше, из Зальцбурга в Прагу. Там его разбивает лихорадка. Полубольным отправляется в Варшаву, где — будучи итальянцем, то есть горячих кровей — все время влюбляется в панночек и подхватывает в результате некий интимный недуг. Из Варшавы отправляется в Калининград — там и я был, в то время, правда, его называли Каралаучи. Из Калининграда, значит, в Лиенау, по дороге мучается морской болезнью, из Лиенау тащится в Елгаву... — старик перевел дыхание и продолжил — Елгава, лежит один в гостинице, лихорадка его трясет, кашляет без роздыху, еще и насморк подцепил, а еще эта польская хворь, да и кошелек совсем пуст. Кашляет. Вот-вот концы отдают. А за стенкой лежит немецкий барон, ему этот кашель спать на даёт. Барон, наконец, встает и идет в соседнюю комнату. Слово за слово, познакомились, а у барона денег что грязи, он болезнью повелевает укутать в шубу, привязывает к саням — чтобы по дороге не выпал — и везет сюда вот — продемонстрируй-ка, чему тебя высшая школа научила. А этот Санталючия что, тут же за работу, день и ночь напролет глаз не смыкает — здесь он такой дворец отгрохает, какого весь свет не видывал! Если смотреть с воздуха, то все это похоже на пояс невинности — это, значит, чтобы молодое поколение предостеречь от распутства. В парке же — различные фонтанчики для поправки здоровья. Этот — от лихорадки, тот — от морской болезни, на каждую болячку — свой фонтанчик. Все, короче, молодым в поучение, а старым — для успокоения сердца. Но... Болячки его вконец заели, совсем исхудал, а тут еще и чесотку подхватил, ходил вокруг как Иов, потом совсем свихнулся, принялся вдруг колонны грызть, те ему, видите ли, напоминают ему... — ну, как это теперь называется, фаллосы — у нас-то в свое время другое название было — а потом заперся в подвале, не

пил не ел, писал только — поучение молодым — писал, пока вовсе не помер. А дворец до войны был приютом для убогих, а после войны сделали из него детдом, назвали «Спридитис», свезли отовсюду ребятишек, кружок рисования организовали. Учителка — молоденькая такая совсем — сказала им, чтобы дворец нарисовали. Ну что, вскоре приносят свои картинки, а там — сплошные фаллосики! Учителка за голову — да как же это так?! Это же колонны... А после этого в туалете все стены этими колоннами изукрасили, и сиротский дом перевели в другое место. А здесь была почта, потом контора МТС, а потом нас со всех концов свезли, пансионат устроили, только название осталось прежним — «Спридитис», и колонны эти — старик меленько захихикал — отхожее место сколько не крась, а они все появляются и появляются. А там, в другом крыле, там что-то вроде подсобного хозяйства когда-то было, а теперь устроили пересыльный пункт для телят. Что тут еще устроить вздумают — не знаю, а только никуда отсюда не стронусь, пусть хоть ногами вперед выносят! — старик, словно давая клятву, воздел к небу маленький сухой кулачок. — Если другого выхода не будет, то запрусь в подвале и умру, а потом стану являться привидением, точь в точь, как этот архитектор Роберттино Гварнетти, нет Лорнетти... а, все равно! Я-то в это не верю, а вот другие, говорят, что видали...

Бедный итальянец, отмахать такой кусок, продаться через всю Европу, обрасти по дороге плесенью и паршой, переболеть холерой, тифом, морской болезнью, подцепить сифилис, заработать кашель и насморк, пережить размягчение мозгов — не слишком ли на долю наследника Ренессанса, сына века Просвещения? И финальный аккорд — смерть в погребке! Никлавс вздрогнул. Даже имя, ведь даже имя не сохранилось в памяти старика из дома для престарелых. И все же... все же я сниму шляпу перед тобой — ты ведь, хотя бы, делал хоть что-то, и не мне быть твоим судьей, если у тебя получалось что-то и не так... Не мне, уж, конечно, не мне...

Ну у него и бормоталка, Петерис помог старику слезть с телеги, за семерых немых, возле такого только пристроиться, все записывай и — готов роман! И делать это надо сразу, сейчас, у старого, поди половина тех болячек, которые он приписывал несчастному архитектору... Они же все переполнены рассказами — и правдивыми и придуманными — и уходят, уходят один за другим, уходят и уносят с собой романы и рассказы, собрания сочинений, творческие командировки, кооперативные квартиры, заграничные поездки, читательские конференции, премии, любовь всего народа... Все!

— Итальянец? — бормотал Йорген — интимная хворь? У самого-то вряд ли и триппер был, бодрый старичок, розовощекий, еще всех нас переживет! — Сходи-ка в лавку, купи съестного, — он вручил Петерису деньги и авоську.

Петерис, готовый тут же садиться за какой угодно стол и записывать все содержащиеся в данном пансионате собрания сочинений, гордо и печально скрылся в плотных зарослях.

Роландс одервенело ворочал шеей, голова все еще болела после падения, а еще и эта... которой он не нужен, которая уехала, и чужой паспорт, и телят обслуживать... (Выращивание телят. Т-т выбирают из потомков самых производительных и здоровых коров среднего возраста. Вес нормально развитого т. при рождении должен составлять 7—8% от веса коровы, в течение первых 2—6 дней у него должны появиться по восемь передних зубов. *Latviešu konversācijas vārdnīca, XXI sējums*), старик этот странный, Италия, фаллосы? И у него ведь самого неясная связь с рухнувшей Австро-Венгерской монархией, а телята ведь, наверно, кусаются... Никакой ясности, никакой схемы...

(Продолжение следует)

МАРА МИСИНЯ

МОЛИТВА ПЛЕННИКА

Вавилонский плен — когда это было,
когда Вавилон явился как плен?
Когда на одном языке говорили,
когда Господь нас смешал у стен?

Ангельской лестницей выше идти нам,
мы чаяли с неба сорвать печать,
говоря языком единым;
достигшие выси стали кричать.

Все выше ярусы Вавилона,
хмельных голов многочисленный стан.
Многим уже не сойти с небосклона,
тем, кто хотел быть как Боги — там . . .

Вавилонский плен — когда это было,
когда простиралось хамство как плен?
Позвольте говорить на одном из языков
нам,
для которых земля эта — лучший плен.

ЛАТЫШСКОМУ МИРОЛЮБИЮ

Сойди за волка
в домике трех поросят
из листков, из соломок,
сложенных наугад.

Сойди за волка
и их испугай, что есть силы.
Сойди, пробуди в поросятах
дремлющие в них силы.

Сойди за волка!
Хотя ты и не таков,
Голос понизь, воспользуйся масками.
Поросят не перепугаем —
это нам всем
может стоить максимум.

* * *

Истин, даже еще не созревших,
меньше у нас, чем хлеба и зрелищ.
Еще и на всех не хватает,
еще лишь открыты ворота хлева,
еще перебитые ноги ступают,
хромая, сбиваясь со следа.

Истину, даже еще не созревшую,
проглотить много легче, чем жабу.
Но, когда детские жадные рты
от старых пустышек скривятся жалко,
что же мы вложим в раскрытые рты —
истину или жабу?

* * *

Есть нервы у шутов заправских
и центры шуток и смеха.
В массажи он верит и пластыри,
в интеллигентные средства.

Он молит в стационаре
на миг, но пристроить больного.
Все сразу пойдет как надо,
и сможет смешить по новой

и славить мозги индюшки
и куриц, летящих на крошки.
Расправятся снова многие души,
как пузыри в сувенирной броши,

что в салонах, на выставках, в центрах
за стеклом среди прочих презентов.
В слезливой толпе непременно,
ах, песня шута на ленте,

он здоров и в ходу был прежде
и стрессы снимал на совесть . . .
Отчего я смеюсь все реже?
Играла шута? Иль готовлюсь?

* * *

ПЧЕЛКА, пчела, на дверном косяке.
Но, заговоришь на родном языке,
яд в него, как свинец, не вливай.
На своем языке заострай
только жало.

Цветет еще вереск,
в иней розы еще не верят,
тебе еще зимовать, еще вербы
весной начнут распускаться.
Но, если горько и может статься,
зная истину, недруга встреть —
защита себя означает смерть.

Пчелка, пчела, на дверном косяке,
на полном цветочной пыльцы языке.

Тебе не идет праязык слоновий,
что медленно гибнет в своей основе.

Защититься и честь защитит — умереть.
Это — души древнейшая речь.

Пчелка, пчела, на дверном косяке
на полном цветочной пыльцы языке . . .

Переводы Григория ГОНДЕЛЬМАНА

* * *

Я пишу с берегов, мой учитель,
до которых паром не доходит.
Полететь бы — ведь Слет! созывают.
Да вот, хомяки не летают.

Погода, как перед бурей — Хороша!
Из чайников пьем здесь вина.
Крылатых нет среди нас.
Зато — прекрасная дисциплина.

Крылатых нет среди нас,
зато тайный запас за щекою
на случай разбитых надежд,
или вдруг степью большою
обернется долина покоя.

За щеки так много напихано,
что молчать можно целую вечность.
Вы спросите, как мое имя,
Я Вас назову, мой учитель.
«Всегда готов!» — вам бездумно ответит
ленивейший из толстокожих.
И сейчас он прислужник богатенький,
из негодяев малюсеньких.

Обладать и солнцем, и миром . . .
Что добыл ты, старательный, честный?
Учитель! Урок не по силам.
Вы знаете, счастье так слепо . . .

Милый учитель, мы много достигли:
вот справки, и пропуск, и паспорт.
Шарик воздушный взирает
На праздник в хомячем классе.

* * *

ДРУГ, подмети за собой
и лепестки, и опилки.
Завтра ребенок придет,
так чтобы здесь — ни пылинки.

И Лавров засохшие листья . . .
(а то он все тянет в рот)
и прах мотыльков обгоревших . . .
(их опыт ему — не впрок)

Чтоб не спросил: «Почему?»
просеяв меж пальцев крылья,
ты знаешь, что лучше ползком
жизнь постигать без усилья?

Сотри все мечты и грезы.
Место им — на помойке.
Дитя словно хмель вокруг березы
вьется вокруг «что поближе».

Друг, вытри на лестнице стружку,
как улицу вымети память.
Его, чтоб болезнями нашими
не заразить, не изранить.

ТРАВЫ ОТ МЕЛАНХОЛИИ

М. Ирату

Да здравствуют латыши! — воскликнул Матис Иратс
за пиршеством в давние годы.
И ум его не был хмелем объят,
и речь не была слаще меда.

Да здравствуют! Да здравствуем . . . отзыв словно вздох,
и звон бокалов щемящий сразу.
Теперь я знаю — взбадривает бог
так срезанный букет калужниц в вазе.

Лишь Ояр, вырвавшись из трав
охапкой скошенных, еще цветущих,
в бессоннице скитался по пустыне.
Теперь я знаю — странник так
печалью движимый, в оазис тропку
прокладывал безверным, смерть в бутоне
уже постигшим.

Марта Барбале там, как прострел-трава,
Улдис Берзиньш — как перец турецкий,
Карлис Скалбе и Лилия Дзене была,
Илзе Калнаре тоже мгновенье цвела,
Имант Зиедонис залечивал корни,
и ему удалось . . .

Так чего мне еще? Были б живы.
Латыши! Да здравствуют!
Те латыши, что лекарство для нас,
что, как травы от меланхолии.

* * *

Тяжелые думы пусть тают, как дым.
Казнящее время
предсмертно кричит.

Не плачь, благородного юноши мать
о сыне, его из земли не поднять.

Он — выход без спроса в иные миры
сердцам и рассудкам, что правде верны.

Тем душам прекрасным и гордым нельзя
крикнуть «кыш!» и «не лезь!» и «не суйся сюда!»

Он — как окно, возвратившее свет,
свет надежд на закате,
коль солнца уж нет.

Не плачь, видишь время пошло на восход,
сына дважды никто не убьет.

Он мальчик был юный — теперь богатырь
и знает: народ — это не сувенир.

Время восходит, мышцы дрожат,
сделаем много, если
не разорвутся сердца.

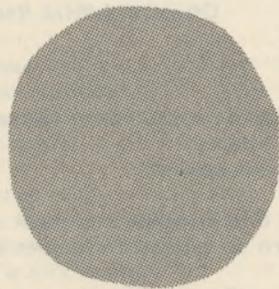
Переводы Ольги ДОРЕНСКОЙ

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ ИЗРАИЛЯ НА ИВРИТЕ

АРЬЕ СИВАН

ЗНОЙ НА УЛИЦЕ БАЗЕЛЬ

Когда жестокий зной падет на улицу Базель,
Не хватит воздуха и каланче пожарной;
одна вода. И те пришельцы из земель
премноговодных, кто в пустыне жаркой
плутает, чтобы кладезь рыть в песке . . .
Верблюды здесь вдоль хижин проходили
от моря к Шейх-Муанис, вниз к реке
Яркон, на берег дальнийплыли:
горбы воде как островки служили
с поклажей пыли и крупиц песка . . .
Висели гулко тыквы на заборах
И в жаркий день делили комнатушки
завесы простынь влажных, на запорах
томилась окна, жарилась подушки,
и все просили душу отпустить
на покаянье, призывая громко осень . . .



РИВКА МИРЬЯМ

НОГИ

У каждого из нас большие ступни,
чтобы вбирать всю пыль земных дорог.
Здесь, на земле суровой, мы не трутни,
хлебаем пыль — и бьет песок в висок.
Спускаются с небес большие птицы,
и живность мчится теням поперек —
снести яйцо, застынуть, вновь родиться,
из лунки вылезти, иль уползти в чертог . . .
В пыли те ямки и теплы, и мягки —
в них наши вздохи прикорнут часок,
и сонмы предков в полночь из канавки
появятся, чтоб растереть песок
для наших в кровь давно разбитых ног.

ХАИМ ГУРИ

ИЕРИХОН

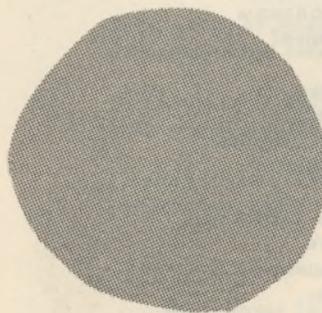
Иерихон знать ничего не знает:
мерцал в мечтах задолго до того,
как на закате они встретили его —
он тенью стен их тени прикрывает.
Пустынен вид — пустыня остывает . . .

Пророчеств черных на табличках нет —
сквозь пальмы ветры пронесли да бормотали
в сиреневых и алых, цвета стали
цветах, отнюдь не предвещавших бед.
Казалось странным, что знамений нет.

Вот слухи поползли окрест о тех
косматых чужаках, что из Эдома
пришли, омыли пот в реке близ дома,
но дом и Божий град полны утех —
лишь смех да шутки на устах у всех.

Одни блудницы молодые, поиграв
железными их посохами ночью,
пока заря не разлепила очи,
болтали, развалясь, дивя Моав,
о голоде, что страшен как удав.

Иерихон пустыни знать не знал,
лишь красовался, попирая змей.
А схема крепости — не думали о ней,
никто в рога трубить не предлагал . . .
Ни стен, ни тех, кто помочился в пыль.
Лишь прах остался, да развеян был.



БАТ-ШЕВА

* * *

Ночью Восток посылает нам Благо.
Жалить нас в головы будет оно,
мы его — в сердце, покуда темно.
Ночью Восток посылает нам Благо.

Радостью кутает, сводит с ума
болью блаженной в объятиях мрака.
Ночью Восток посылает нам Благо.

Песни ночные, шуршанье бумаги,
холод и шепот и звезд голосок . . .
С этой ли ночи пребудет во благе
Благо открывший, прозревший Восток?!

ЙЕГУДА АМИХАЙ

КАМНИ ИЕРУСАЛИМА

Лишь камень иерусалимский знает тут,
что значит боль — он нервами пронизан.
Когда встает Иерусалим на бунт —
на башню Вавилонскую — вмиг вызван
бывает Боже-полисмен: он бьет
дубинкою огромный город древний.
Дома и стены оседают, в свой черед
сползают улицы, бормочут как деревни
молитвы хриплые, ворчливые свои:
церковный звон, у синагог галдеж,
мычание с мечетей раздается . . .
Все — по местам своим, и отзовется
им каждый камень — если не отверпеж.

НАТАН ИОНАТАН

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОДНОМ АВЕССАЛОМЕ

Хитер как женщина, красив как змей упругий,
Стыдлив как истукан, в кругу друзей
И в золоте блистал . . . Затягивал подпруги —
И мчался вихрем дивный отрок сей!
Скажите: где вся хитрость его женщин?
Где красота змеиная, где взгляд
Стыдливый, идольский? Скажите: чем увенчан
На царствие нацеленный парад?
Лесное дерево — вот след Авессалома.
Да плач родителя — седого храбреца,
Былого бабника . . . Возничий возле дома
Свернул с дороги, уважая скорбь отца.
. . . Переломить отца и насмеяться
Вот так — над смертью, над добром и злом!
Балованный сынок, ужель не мог дожидаться,
Пока состарюсь я? А, сын? Авессалом!
Пока в могилу б нас свела корона? . . .
А так — что кудри пышные, что спесь?
Не знал ты гибельности их сетей для трона?
И почему ты ринулся сквозь лес?
Забыл, что приключилось с Ионатаном?
Не ведом нором сучьев тех сухих?
Отец в тебе лелеял, как ни странно,
Все то, чего сам в жизни не достиг . . .
. . . Как этот человек дрожит . . . Зачем же,
По-твоему, тебе я помешал?
Заботился о людях? Счел невежей?
Иль возраст молодой царя смущал?
Когда бы разговор наш был спокойным,
Ты понял бы, что я не тот Давид,
Мученье матери, я — просто старый воин,
В могилу шествую угрюмо, пряча стыд.
Задумал втайне сей мудрец под старость
Из сыновей хоть одного спасти
От войн, от власти . . . Всё б тебе осталось,
Мой дурачок, Авессалом! Прости!

Перевел с иврита ИГОРЬ ЕРМАКОВ

НА ЛАТЫШСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДБОРКА
ПОЭТОВ ИЗРАИЛЯ ВЫЙДЕТ В ПО-
СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА
«AVOTS».

ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ

ВОЗЛЮБЛЁННЫЙ

РАССКАЗ

Как раз рассматривала книгу с фотографиями о России. Там такие лица, что у меня кровь застыла от ужаса, но тоже просто от изумления. Снимки бытовые. Так себе представляла, как ты там расхаживал, а может быть даже не замечал, только здесь замечаешь ужасных немцев, так как другой ужас.

Вернулась с женского такого вечера — там танцевала танцовщица турецкие и арабские танцы — животом. Только для женщин. У нее была такая фигура, как у меня, хотя я, смотря на нее, думала, что я худее, но, придя домой и рассмотрев себя в зеркале, увидела, что точно та же самая, только не умею так крутить животом.

Часто разговаривая с тобой, так и то мне приходится все переводить на русский: так и живу в трех речах. Про любовь тоже не могу много сказать, так как не страдаю, а живу в глубокой связи с тобой, такой глубокой, что почти без эротики.

Я сегодняшний вечер под влиянием шока от судьбы арабской женщины. Встретила на прогулке бывшего коллегу по университету — араба из Сирии. Он вел себе женщину, видимо, из тех стран, и ему очень хотелось мне ее показать. Я его знала как самого ограниченного студента философии со склонностями к «бабничеству». Его женщины были с северных стран. Он мне теперь представил эту как его жену и рассказал, что он ее получил четыре месяца назад, что, соответствуя мусульманскому обычаю, его брат в его заместительстве на ней в Сирии женился, отец ее выбрал и вот — послал Могамеду в Европу. Я на него смотрела, не веря, но он, начиная нервничать, повторял, что это так положено, вот другая страна, другой обычай. Я напомнила, что эта система очень невыгодна — большой риск, тут он согласился, но сказал, что ему повезло, что все хорошо и скоро, даст Аллах, дети будут. Все это известно, но шок был для меня, что этот человек живет уже более десяти лет в цивилизованном мире и что сразу так упал в старые привычки.

Он очень старался делать серьезный приличный вид, и я уже видела во всем этом его усилие начало катастрофы,

хотя она еще по-рабски улыбалась, а одета уже в европейском платье. Пародокс был в том, что они были одеты по-западному, а я — в моей одежде женщины из гарема. Долго еще была недовольна собой, что от удивления все смеялась, а не сказала свое мнение про рабодержавца. Даже очень весело с ним рассталась, как будто он мне рассказал шутку.

Депрессий у меня больше нет, знаешь, исчезли, как я про них рассказала бельгийке на прогулке неделю назад. Она от них расстроилась, получила головную боль, и я освободилась. Это вроде нечестно, но ведь она мне уже несколько раз рассказывала про свои проблемы, и я все выслушивала.

Мне американец стоил кучу денег, так как ходили в рестораны, и каждый счет был, как измена; я уже чувствую с каждой суммой, которую трачу не на наши свидания, что тебе изменяю. Поэтому живу довольно аскетично, есть ведь цель. С американцем рассталась легко, поехал сильный, замкнутый на родину. Он все не понимал мои реакции и я его. Должны были как-то все время объяснять, что имеем в виду. Я уже знаю, пока ты будешь ревновать, я буду знать, что меня любишь, хотя и плохо любишь. Буду задавать поводы к ревности. Так ты страданий своих только временно избавишься или как Сван в конце и потом навсегда.

Когда я войду в номер, я сама разденусь, но молча и медленно, начиная с груди. Будешь меня потом жестоко любить?

Чем больше русских знаю, тем больше уважаю твою стойкость и удивляюсь, как ты смог многим не заразиться. Да, смертельно не заражен, как много видных представителей вашего мощного народа. А вот господин Доктор меня разочаровал. А ты говорил, что он не тяжелый человек. Он мне очень напоминал секретаря Ленгорсовета.

Я сначала долгое время мужественно держалась, но к концу тоже на меня напала моя славянская жестокость и нетерпеливость. А мой муж очень по-западному толерантно и вежливо и мягко его расспрашивал. К концу (5 часов

продолжалась наша встреча) Доктор ходил по комнате зеленый в абсолютной напряженности, а у нас трещала голова. Мой муж вопреки всей толерантности заболел и пролежал весь следующий день. Я пошла плавать и смыла советскую пыль.

Вылечившись, мой муж превратился из пацифиста на борца и сказал, что эти люди правы, когда предостерегают нас перед самими собой. Я Доктору еще за обедом сказала, что он лично большая опасность для западной демократии. А он не возражал.

На одной стороне, при таких встречах восхищаюсь, что ты до того не дошел, но на другой стороне, у меня появляется такой страх, наверное, есть у него запас ужасов, но сумел большинство подавить, и проходят на свет только верхушки, но они не лодочки, они верхушки огромных подводных гор. И я с грустью слушаю те же фразы из уст другого, и они больше не проявление индивидуального, а национальной тошноты. У тебя было бы может то же самое про меня. Но вопреки всему, всем моим сомнениям, страхам, борьбам, остается ядро, которое у меня и твои земляки не возьмут, и ты сам никогда не возьмешь, сделавши что угодно.

Мне теперь как-то и хорошо, но нелегко. Мы как-то разрешили нашу связь, мне ведь даже больше не хочется, так как из-за собственной экстремности не выдержу с тобой больше пяти дней. Всегда рада уезжать, чтоб освободиться от рабства, что проблем нет, что все удачно получается, меня печалит. Знаю, что такая печаль извращенный люксус, и мне даже немножко стыдно, что у меня такие дворянские проблемы. Как я рада, что однажды умрем и не будет борьбы.

Как раз позвонили из издательства и рассказали, что Доктор был воодушевлен от нашего разговора, сказал, что у него еще никогда не было такого высокого душевного разговора, с тех пор как он на Западе. Он человек, который не слушает, так просто кажется, но должен же ведь слушать, раз уж так хорошо описывает людей. Так что он, по видимому, на все реагирует. Сказали, что собирается описать нас в своей книге. Это будет уничтожающе (что касается меня). Я там сидела, развалившись в нашем парижском платье — символ западного люксуса, — и говорила про необходимость чистого воздуха. Он сделает ужасную пародию. Вот в столкновении с русским себя вижу западной.

А ты лучший слушатель в мире. Меня вообще никто не хочет слушать, значит, и хотят, но не так долго и интенсивно, как ты.

Сию в поезде, опять у меня освобождающее независимое чувство. Читаю вашу здешнюю газету: мне совсем этот ваш народ непонятен, три страницы об Александре Втором, на одной странице какие-то восклицания христиан, исповеди, стремление к православной церкви — они все затухли, ссохлись, из одного гнета быстро в другой, но чтоб был такой хороший, знакомый, старинный, чтоб не было местечка на боязнь, на пространство. И вот такой народ, запуганный, жестокий, властвует над моим европейским. Какой боязливый народ — то к православию, то к коммунизму, то к буржуазной нравственности. Я забыла, что ты — светлое явление, но такое не очень яркое, такое осторожное. Ты у меня вне вашего сумасшедшего народа. Император до тебя дотронулся, — ты ведь не рад, что убили. А пусть царей убивают, это ведь их риск. Мне очень нравятся революции. Но нет у меня страны, потому занимаюсь любовными делами. Все какие-то мечты, я просыпаюсь и ярко помню — целовал грудь, больше не засыпаю. А когда стану беременной, ты меня тоже будешь встречать? Есть мужчины, которые очень любят

беременных. Я очень одурею, стану вегетативной, усталой, святой, религиозной, как растение, каждый день буду из-за мелочей плакать, думы только про ребенка, хорошее питание, свежий воздух, жизнь в деревне. После родов буду кровь и молоко, блаженность без экстаз, без гор, без мужчин (нарочно поставила горы перед мужчинами — это, конечно, неправда).

Еще десять дней до нашей встречи. А ты быстрее сжигай письма, иначе ты все в страхе, что обнаружат. А что, когда обнаружат? Убьют? Будет страшно? Невыносимо? Вина и ужас? Вчера, когда шла в газету, был долгий путь, и я вспомнила про то, что ты говорил в кафе, что расстанешься, и опять расплакалась от обиды, что считаешь ревность даже доказом любви. Когда мне еще до тебя наркоман — не способен меня любить — рассказывал про свою любовь к своей подруге, я почувствовала сильную любовь к нему, что он ее так хорошо любит. Он меня, конечно, не понял в этом и считал, что я лгу. Мои перверзии тоже в рамках гуманности. Эта связь с тобой в высшей степени нравственна. И культурна, достойна. А был бы негр из Рио-де-Жанейро — это моя мечта найти себе анонимного негра на карнавале — эту мысль ты мне подобрал, уточнил, она у меня была и до тебя — было бы недостойно — эксплуатация человека, мастурбация. Я должна тебе тоже осторожно писать, чтобы не показывать мои плоские страницы и бесчувственность и грубость, которые у меня тоже есть. А как хорошо, что я не гадкая, столько наслаждений была бы лишена. У нас теперь ночевала одна красивая в лице регулярная девушка, испанка, она стала подругой мексиканца. Она меня изумила своей красотой, она тоже умная, единственно, что меня спасло, что она не славянка, значит славянской димензии у нее нет. Единственное, на кого немного ревную тебя — это украинки.

Я теперь пролежала два часа в постели после звонка, у меня появилась такая идея, которая меня не покидала. Я себе представила, что у нас будут два дня времени, первый — половина, ночь и второй — целый. Я все себе представляла до подробностей, не знаю, почему я думала, что не выдержу и попрошу тебя, чтобы меня там целовал, ты откажешься, ты наверно откажешься, и это меня приблизительно час волновало, я потом буду говорить только о своем, забуду говорить о чужих, наверно расплачусь, и тебе будет страшно, но ты меня не будешь целовать. Я не буду обижена и страдать, только буду делать вид. Так как русский не родной язык, я могу все эти вещи писать, он для меня туманный, на родном бы в жизни не написала. Я пишу, точно как акробат, не смотрю направо, налево, шагаю. Я даже эти строчки пишу, сидя за столом, за спиной разговаривают муж с мексиканцем, мое нахальство — не нахальство, а не знаю что.

Еду в горы. Когда буду кататься, быстро, быстро, чтоб близко смерти, буду думать про тебя. Наверху совсем мало воздуха, тяжело дышать: когда без остановки съеду 1000 метров разницы до деревушки, буду счастлива. Я непременно буду одна кататься, чтобы мне не мешали при моих экстазах. Они не всегда приходят, это подарок, никогда не знаю.

Не знаю, почему у меня такая сильная эротическая тенденция, я ведь жила временами совсем трезво и фригидно. Мексиканец нам делает ритуальные изделия как подарок. Он хороший человек, я совсем не замечаю, что он здесь, все спокойно, молчит, ему тяжело, мне не тяжело, совсем непринужденно. Бельгийка мне опять что-то рассказывала про самую красивую ночь в ее жизни, но не детально. Я на нее так эзотерически смотрела, что она спросила, не больна ли я, не хочу ли минеральной воды.

Когда придет Р., обнимать не буду. А когда он захочет,

как могу ему отказать, ведь десять лет сидел! Трудно отказаться, из гуманности (не в роде Эмнести) должна отдаться. Какой ужас меня ожидает! Я еще раз посмотрела его письмо. «Обнимаю Вас сердечно». Ну «сердечно» — это ведь формальное слово, и такое объятие допустимо, такое бодрое, дружеское, что ты думаешь как владделец русского? Я такая милая, что тебе все говорю, радую, делаю комплименты, описываю свою страсть к тебе, как тебе меня не любить? Повезло, нашел себе славянскую душу на чужбине, а я с отрочества должна была страдать, настраиваться на чужой менталитет. Ты меня твоим письмом разорил, всю мою гармонию души расколос. Ты мне так красиво написал, что я расплакалась и побежала в подвал, чтобы меня никто не видел. Думаю, это у меня начинается что-то похожее на французские гостиницы. Как все это у меня смешалось — тело с душой и духом. В нашем замке у озера ты себя вел удивительно непринужденно. Была бы я мужчиной, и должна была начинать я, тяжело было бы мне. Ты тоже знал, что ты должен начинать, это ведь нагрузка, но ты все очень элегантно сделал. Такое я еще не видела, а ведь у меня целовальный опыт! Сегодня воскресенье. Мне снилось, что мы были где-то в гостинице, такой холодной на первом этаже, в больших постелях, я одеваюсь, а ты лежал, и сразу вошла моя мать, нервная, недовольная, что меня уже долго ищет, и сначала не заметила тебя, но ты, как нарочно, пошевелился, тогда она сказала таким властным голосом: «выйди, мы должны вместе поговорить». Мне было как будто десять лет, как будто меня бросили назад, все дежурят за мной, жизнь узка, некуда мне деваться, и ты меня не спасал. Но это было в ночи, а теперь мне уже хорошо. Я первый раз сознала, что если это так будет продолжаться, я ведь должна буду как-то жить одна, должна буду с основы измениться, мне при этих перспективах закружилась голова.

Знаешь, что я часами делаю? Выписываю из «Правды» адреса членов Верховного Совета: надо посылать письма об отмене смертной казни. У меня карта СССР, так как я должна детективно искать эти места, и со странным чувством печатаю адреса разных бригадиров, шлифовщиц, колхозников — там столько женщин, мне их так жалко, у меня с ними очень глубокая связь, я представляю себе их усталые лица, их полные фигуры, их детей и думаю, что они будут читать письмо. Я непременно постараюсь, чтобы на конвертах были красивые марки. Печатаю по-русски, путешествую по вашей нахально огромной стране.

Когда это начнет больше, я попробую убить каким-то поступком. Вот, например, тобой я окончательно убила наркомана. Сегодня мне попался его снимок, и я старалась найти в нем то, что любила, и больше не могла. Очень странно, как абсолютно ничего, ничего там не было. Вот это начинает меня тоже пугать, эта абсолютность чувств, эти концы. А ты такой замкнутый, абсолютно несдельчив. Даже в лице никогда ничего не могу уловить. А я вся раскрываюсь, как на рынке, ужас, вот это пролетарская черта у меня, нет, нет, нет ничего рыцарского, ничего дворянского. А замкнутость элитарна, ты всегда, в лучшей позиции, сохраняешь военные секреты. Мое единственное оружие — неожиданность, изменение фронтовой линии. Также теряю чувство реальности. Отсутствие этого чувства мне позволяет все делать. Вот когда я ехала в Страсбург и приходила на наш вокзал, я всякий раз подумала: «Вот и делаю это, действительно делаю, вот покупаю билет, сажусь в поезд». У меня было вчера такое плохое приключение. Ночью, возвращаясь от нягини домой, напал на меня один молодой парень, он шел напротив и схватил меня за грудь и странно захрипел. Я его оттолкнула, заорала тоже вроде, как он, он пошел, и я ему от

бессилия бросила: «Ты свинья». Как славно, что научили меня писать по-русски, ярко чувствую, как культура блаженна. А у тебя по телефону какой-то мужской голос, как бывает у мужчин с майками и собаками. Уже неделя прошла. Все это изнуряюще, раскладывает меня, фантазирует. Какой умный был наркоман, что он меня не хотел. Но ты, конечно, умнее, гораздо умнее, что хочешь. Я уже знаю, что хочу с тобой сделать в Париже: пойти в фантастический и магический музей. Ты разочаровался? Конечно, все еще хочу вместе принять душ. У меня были довольно трудные дни. Мой муж ушел к какой-то другой женщине, чтобы меня спровоцировать. Он меня спросил, была ли я тогда в Линце с тобой, и я должна была ответить, так как он все знает. Но больше не сказала. Я теперь читаю Чехова по-немецки, про безнадежные внебрачные связи. Муж хотел переселиться и другие какие-то вещи и все хотел знать, как я себе брак представляю, я так истощилась, все у кого-то какие-то права на меня. А ты мне прости, что должна сказать, мне во лжи невыносимо, да и все заметно.

Бельгийка мне опять рассказывала про свою любовь и сказала интересным образом, что она женщина, которая ничего не дает, что мужчина ей должен все отдавать. На мой вопрос, почему она не дающая, сказала, что истощилась детьми и преподаванием музыки. Очень тебя люблю, когда в телефоне ты так быстро и тихо говоришь, что почти непонятно, тогда у тебя нет этого уверенного голоса взрослого мужчины. Твой голос прямо у меня в подживотии и потом всюду. Начинаются опять мучительные наплывы.

Меня ждущая на вокзале толпа знакомых была ошарашена одеждой рабыни арабского гарема. Только сын в обаянии сказал: «Какая красивая!» Я была счастлива на почти родной земле. Как все повторяется! Я совсем не лучше твоей жены, а ты не лучше моего мужа. Временем вырабатывается у нас тоже механизм привычки, фасцинация становится слабее, наступает брак, борьба с прозой, секс теряет философию, не стремится главным образом узнать суть другого человека. Вот это последнее меня сильно поразило. Поэтому я рада, что теперь здесь без тебя. Я любила мою мучающую меня возлюбленность, так как она сильно одушевляла все и давала мне чувство надменности над всеми другими. Не карие прищуренные глаза при ощущении перешагивания границ, не руки при ощущении собственной молодости помню, а тебя, как человека, даже не как мужчину.

Мой красивенький, у тебя был такой грустный, грустный голос. Мне было тоже страшно переехать в чужую страну, я всегда забываю, что мужчины тоже люди, что им тоже страшно. Я бы очень хотела с тобой прожить несколько лет в стиле жизни де Бовуар и Сартра, без налаженного быта, без детей, только в гостинице, в парижских кафе. Только ты бы должен был признавать мне все права, как у них было, и не выдвигать ложь в гуманизм. Мы бы могли так хорошо жить и бороться за лучший мир. Почему не можем?

Я как раз вернулась из цирка. Я очень тронута и горжусь, что сын цирк вовсе не полюбил. Он недоумевал, почему люди должны глотать огонь, к чему такие ужасы, очень дрожал, когда акробат полез на пять стульев. Другие орала от радости, а он сочувствовал, чтоб акробат упал. Он понимал, что опасно, он не мог понять красоту опасности. Я себе из люксуса придумываю ужасные приключения. Была плавать в бассейне и плавала час, думая о таких грустных вещах, что вроде расплакалась, но могла спокойно плавать и плавать — никто не замечал.

Я надеялась сегодня, что над всей Европой будет туман, и что ты будешь ждать в Женеве в аэропорту, и самолет не будут выпускать, ты догадаешься и позвонишь. Я наверно

потому так думала, что, когда мы летели в Америку, нас целый день держали, и я позвонила наркоману, но вместо телефонного акта я была принуждена говорить с его подружкой, расплакалась и наговорила ей, что боюсь лететь в самолете. Так мне было грустно уезжать, не совершив греха. Но зато после Америки быстро и срочно выполнила план. Почему у меня был такой вздор в голове и почему выбрала именно такого?

Я даже не знаю, почему мне тот текст в журнале не понравился. Был какой-то слишком русский. Помню, что у меня была какая-то зависть, что у них корни есть, а мне осталась только космополитизм. А русский язык меня раздражал — такой интеллектуальный. А вроде ничего против не могла иметь, так это еще больше мучило.

Мне сегодня ночью снилось лесбийское приключение — очень сильно. Какие-то две женщины, скорее девушки, я их знаю из феминистических соображений, меня начали соблазнять, одна меня укусила в рот, другая была раздета, потом мы лежали в постели, мне было очень страстно, но их тела были чего-то лишены, а кончилось на том, что муж вошел, и они убежали. Я была этим сном ошеломлена. Было почти, как с тобой, но причем здесь женщины? А днем, когда ждала твоего звонка, мне позвонил наркоман. Сообщил опять, что желает. Я ему сказала, что у меня ныне другие наркотики и что он пропустил возможность, что я не жизненная страховка. Он был в абсолютном изумлении, даже избить меня захотел. Но это неинтересно.

Только что вернулась с демонстрации молодежи. Это была очень интересная динамика. Сначала перед университетом стояло около тысячи подростков, брань, крики, движение, потом прибежал худощавый напряженный молодой мужчина, что-то закричал и вслед появились крики «Демо! Демо!», и все начинают двигаться в одно направление. Молодежь одета непривлекательно, серо, иногда в кожаных штанах и куртках, иногда подстрижена почти до гола, с платками на лицах, другие свободно показывают лица. Все в руках парней. Они бранят друг друга. Они начинают с лозунгами, расхаживают, как петухи, в них насилие и агрессивность. Девушек около двадцати процентов, они в большинстве подружки парней. Они идут тихо вдвоем или совсем подражают мальчикам, но тех мало. Масса движется. Мне кажется их ужасно много, насилие висит в воздухе. Все больше лозунгов. Приближаемся к тюрьме. Там больше ста человек, арестованных вчера. Лозунги, кулаки, свист, идем дальше. В центре города уже ждут полицейские — их мало, около тридцати, одеты, как средневековые рыцари или как беби, — такие толстенные. Несколько подростков нервничают, что-то кричат, и масса колеблется, стоит, не знает куда. Несколько мальчиков вооружены палками, и у них шлемы на голове. Но минутку спустя масса опять движется и идет к зданию полиции. Там все темно. Окна опустили жалюзи. Людей в городе нет, в них какой-то ужас. Никто ничего против не говорит, думаю, не смеет. Возвращаемся к университету. Вот и масса распадается, вождь кричит: «В субботу в два часа на площади Клары». Потом садятся на тротуары, на заборы, курят, я ухожу.

Надо ехать в Баварию. Вчера мы сделали экскурсию с одной немецкой парой, и уже давно у меня не было такого отвратительного ощущения праздности жизни. Мы поехали на машине в горы, меня все время тошнило. Немка повластвовала материнскими громкими чувствами, затянула нас в свой профанный мир пикников и географических соображений. Мой муж себе ударил голову, и его тоже стошнило. Мы пришли в течение нескольких часов в абсолютную беспомощность. Должны были есть печенье, она повелевала над сыном, и ее голос непрерывно сек мне душу. Тошно-

та мне тоже не помогала, но она была официальное алиби моей угрюмости. Моя безнадежная попытка прикоснуться ядра этого человека обрушивалась на ее поток слов — говорила она высоким голосом про слезы, про смерть, про душу, про секс, но все было слова. Я заметила, что я не общительный человек, и что неправильные люди — пытка. Я все пробовала привлечь твоего духа, чтобы мне помог, но он разламывался из-за ее присутствия. Ребенок ночью разбудил меня в шесть, и все будил, как я тебя.

Я уже в таком состоянии, что даже мое собственное тело начинает на меня действовать, смотрю я на него твоими глазами. Мне мучительно раздеваться, купаться, все, все мучительно. Сегодня перед сном еще прочту твое письмо. Я сойду в подвал, сяду у стиральной машины на пол, месяц будет светить в окошко. Не бойся, там не страшно.

У меня был на лифте феноменальный разговор с шестилетним мальчиком, который мне рассказывал, как на прошлой неделе нашел дома в кресле мертвого папу. Я потом говорила с его мамой, и та мне подтвердила, что у нее муж застрелился. Мальчик это рассказывал, как криминальный роман. Казалось, что единственное, что его сердит, — полицейские, которые все время что-то ищут в их доме и тоже заботы со страховками и продажей квартиры и другие дела. Я с мамой тоже долго говорила, у нее была тоже невероятная дистанция к этому. Так как были у нее зеркальные очки, глаз не видела, но она все смеялась, хотя говорила, что ночью больше не спит.

Ездили в Падую, где спали, к завтраку на стол поставили банку с золотой рыбкой. Банка круглая, маленькая, а рыбка уже психотична. Все нервно кругом, и кругом страшно было смотреть. А хозяйка — толстая добрая пожилая женщина — с уверенностью сказала, что рыбке хорошо. «Рыбка маленькая и стаканчик маленький. Как раз подходит. Сыплю ей зерничка, вот так». Мне было по-итальянски трудно объяснить, что растений нет, воздуха у нее нет, только грязная вода и стекло. Так и ушла, не спасив рыбку, а теперь уже далеко.

Твои звонки меня очень расстраивают. Они такие короткие, как шприц, но я, как наркоманка, не хочу от них оторваться. Я чувствую такую хрупкую воздушную связь, ее легкость меня не порабощает, я так счастлива, что, ничего не требую, получаю. Хотя такие законы всем знакомы, они в конкретном случае какая-то мудрость. Я себе припоминаю определенные сцены и фразы: вот как ты в парке сказал, что тебе со мной хорошо, и я делала вид, что не слышала и ты должен был повторить. Из-за тебя читаю роман, и там описана ревность, мне все страшнее и страшнее от этой книги, больше всего испугало, как он описывает, как слова уничтожают. Вот слов я боюсь, не твоих, а моих, так как они так быстро приходят и потом навсегда.

Друзья-эмигранты оставили нам детей. В них уже есть что-то мне совсем чужое, хотя я их и люблю, но они мне чужды, и их тела, которыми глазами наслаждаюсь, и их личность. Особенно в девочке есть что-то ужасное, жестокое и узкое и что-то очень женское. Мне страшно смотреть, как оба мальчика ее стучают и унижают. Тем более ее защищаю, но ее и презираю. Вот сын ей угрожал, что позовет полицейского, чтоб тот ее бросил в тюрьму, и она ему ответила: «И потом у вас никто не будет, кого бы могли бить». Ей четыре года. И мои меры воспитания от отчаяния грубые. Царит сила. Как раз (уже полночь) у этого мальчика был какой-то припадок. Он дрожал, куда-то стремился, какие-то страшные звуки из него выходили. Это было невероятно страшно. Меня моя мама сегодня утверждала, что он ненормальный. Я на нее за это ужасно рассердилась, и теперь мне эта фраза повисла в голове. В этом

была ужасность жизни, что он такой маленький, напряженный, костлявый так мучится, так боится и именно ему есть чего бояться. Потом сразу успокоился и уснул опять.

Я приехала из Вены, не замечая ничего, не вслушиваясь в разговоры. Дома меня ожидала мышь, — как я и боялась. На кухне была вонь, и я слышала, как скребет мышь. Мне было так отвратительно. Вспоминала про Сартра, что через отвращение ощущаешь существование. Но это существование было голое, как смерть. Вставила затычки в уши и легла спать. Проснулась больной, потеряла голос. К обеду поймала мышь и беспощадно подбросила коту, но тот ее не тронул. Здешние коты, очевидно, не знают мышей, и мыши не знают их, так как моя мышка очень доверчиво пошла его онюхивать, и он был от этого в изумлении. Сын так и сказал: «Видишь, мама, кошки не едят мышей». Твоя сдержанность в Вене мне опять больно напомнила твой характер; я год назад точно в таком депрессивном состоянии уезжала из Мюнхена, после того как не сумела соблазнить наркомана.

Возлюблённый, я так несчастна с тех пор, как ты мне позвонил. Хочу за тобой поехать, только боюсь, что ты мне не позволишь. Помнишь, тот венгр, который прыгнул в окно и месяц назад вернулся в Будапешт, теперь бросился там под поезд и окончательно умер. Когда сказали, я испугалась, что и ты бы мог умереть. Самое страшное, как он в этот раз это аккуратно сделал. Купил билет в ближайший городок, поехал поездом, сошел, пошел назад в туннель и там подождал поезд. Как ему должно было быть страшно, как он ведь должен был бояться, что больно будет, не думаешь? И представление своего трупa, как он мог это выдержать. Вот этого испугалась, что может, я тебе что-то плохого сказала, так как и в него не вслушалась. Так и чувствую себя частично виноватой, что тот так brutally умер. Ведь если б выпил таблетки, это еще понятно. Хочу с тобой. Я сама стараюсь спастись, чтобы меня эта любовь не разрушала, чтоб я могла жить, а не все время умирать, поэтому стараюсь у нее отнимать значения и брать ее легкими руками. Я так не хотела тебя опечалить, уже так боюсь тебе писать, зачем ты такой темный человек? Когда ты исчез с поездом, я успокоилась, как вылечившийся наркоман. Зашла на себя посмотреть в туалет, у меня было чувство некрасивого лица, усохшего, нечистой кожи, и так и было. Когда я твоему озлоблению извинялась, только из-за того, что тебе причинила боль и из-за того, что никогда не хотела убивать самое дорогое и мою единственную трансценденцию. Как может кто-то захотеть убить суть своего существования? Только когда ее потеряет, может и от существования отказаться и в этом надеяться ее опять найти. Ты лучше не звони. Когда звонишь, заражаешь меня вне цикла, все гормональное хозяйство в течение секунды разрушается и начинается хаос, который меня и морально и физически разлагает. Я тебя подозреваю, что себе «американскую обиду» придумал, чтобы у тебя было оправдание для какой-то твоей любовнеспособности. Ты все думаешь, что любишь то, что тебе надо, что соответствует твоему вкусу, что не ломает рамки твоего мира. Я тебя в этом отношении считаю незрелым. Я, конечно, в поступке с американцем тоже оказалась незрелой. Очень рада, что связаны только свободой. После звонка. Точно, как и ожидала, меня облила волна отчаяния, но я переплыла ее и теперь осталась только мокрой. Мои собственные поступки из вчерашнего дня больше неправда, поэтому не можешь меня винить за давние, а только сегодня. И еще раз к американцу. Это было, кроме эксперимента и знания, что все обречено на эпизод, как сказано в сказке: пойдешь налево — худо будет, пойдешь направо — еще хуже. И пошла направо. Все было вне настоящего. Только театр, жажда играть роль в пьесе о разврате. Совсем вне меня.

Поэтому рассказывала, как пьесу еще и с бурей. Настолько все банально, что как в дешевых романах, и странно, что я режиссер и что это моя жизнь. Во всем ничего оригинального, наверно, поэтому ты меня и разлюбил. Но сказала не чтоб тебя мучить, а чтоб ты со мной порадовался, что такой у меня был выбор, точно, как я тебе все другое говорю и тебе интересно.

Доктор произвел на меня длительное впечатление. Он настоящий клоун гороховый. Я теперь поняла, значит, окончательный циник. Он детерминист, в этом есть что-то божье в нем, как у горохового. Он не борется, героев с души презирает, их мужество для него наивность, он ведь знает, что все это ни к чему, что скоро война будет и всюду коммунизм. И ему все равно. Его все это интересует только как научное, только как Бога, мол посмотрим, как все выйдет, хотя это неправильно сказано, он ведь знает, как будет. Узкие азиатские глазки сверкают. Публика у нас давно такое не видела. Для всех было понятно — это монголы, у них другие масштабы, но хотя Доктор это и говорил, не от этих слов это пошло, а от него самого. Это была психодрама. Когда-то в половине спектакля внезапно сбросил маску идеолога и начал играть самого себя. Разыграл всю диалектику. Ты мне с разумом, я тебе с сердцем, ты про статистику, а я символом. Говорил, как святой пророк. Мы сидели на подиуме — пятеро, внизу в темноте триста человек, и я в эту темноту говорила его немецкие фразы, как «третья мировая война неизбежна», и чувствовала, как все замирают. Я чувствовала, что все мы накануне погрома, и все-таки в этом было удовольствие театральности. А он после спектакля был, очевидно, веселым.

Если не сочтешь безвкусным, у меня еще одно оправдание. Факт, что тебе рассказала эту историю, взошел от чувства, что я все еще ребенок и все мне разрешено, от автоматизма — так всегда делала, привыкла, и тоже от чувства риска. Я так привыкла рассказывать такие эпизоды, что не могла сдержаться. И знаю, что не рассказала бы у озера, рассказала бы позже, в гораздо более невыгодных обстоятельствах. Должна была рискнуть и узнать, что случится. Все было уже в нашей судьбе сложено. Только вопрос времени и выгодного случая. Если на это так помотришь, еще выгодно вышло, не разлюбил совсем и не так ужасно все. Я не могу до глубины понять твоей реакции, и ты не можешь моего поступка. Это печально, да? это раскол? Мне кажется, как будто я жила со слонами и встретила жука.

У моей коллеги уже тринадцать лет любовь к ее бывшему психиатру, шестидесятирехлетнему старику, который на ее новую книгу стихов, написанных для него, только сухо ответил: «очень по-дружески». Но это была, кажется, самая сильная фраза, которую она получила от него в течение последних лет. Пришла вчера попросить меня идти на его лекцию в университете. Выкурила при этом уйму сигарет, и ее лицо, как у мальчика, было в других сферах. Она знает про безнадежность этой любви, которая мне напоминает мою первую любовь с тринадцати до пятнадцати, когда я его два года не видела и каждый день каждое утро надеялась случайно встретить. Всегда волновалась про свою внешность и была даже благодарна случаю, что его не встретила, будучи такой непривлекательной. Так его и не встретила. Она точно так, сама не смеет идти на лекцию и просит меня. Ни слова не проронила, а только про старикашку. Она мне, думаю, напомнила тебя, а не себя в ее безумии.

Страданье мое, мне так больно от тебя, и каждое утро пробуждаюсь с чувством ужаса и, просыпаясь, только его чувствую и еще не знаю его причину, лишь ощущение чего-то страшного, и потом прихожу в себя. И чем мне больнее, тем нежнее тебя люблю и так люблю, что умереть хочу.

Иозеф Петерка родился в 1944 году. Первый стихотворный сборник «Литье олова» выходит в 1964 году, следующий — «Псалмы» в 1965. В 1968 году Петерка заканчивает вуз, три года работает учителем, затем в Институте литературы АН и в Чешском союзе писателей. «Автобиография волка» — его шестая книга, а в 1984 году выходит седьмая — «Автобиография человека».

Петерку причисляют к «признанным» поэтам 70-х — к той части поколения литераторов, от которой ожидали прославления режима застоя, его идейно-художественного обоснования. В отличие от Карела Сиса, Иржи Заачека и др., которые нашли выход в бунте эротики и в опозитизировании незатейливых мечтаний «маленького человека», Петерка продолжал традиции чешской «спиритуальной поэзии» — поиска психологизированной истины (Хавличек, Бржезина и др.). Иозеф Петерка стал этаким «принцем Узльским» истэблишмента семидесятых, но в то же время он был и «enfant terrible»... С либеральной оппозицией ему было не по пути, но он не примкнул и к «компрадорам», которые обещали (обещали!) обществу материальный достаток взамен равно-

душия и конформизма. Петерка был против «милого сердцу покоя», против умолчаний.

Сейчас, двадцать лет спустя после «Пражской весны» и «Пражского августа» в Чехословакии веют новые ветры. Многие вчерашние «сознательные» отводят взгляд, а Иозеф Петерка смотрит всем в глаза, потому что чувствует себя победителем. Снова побеждает тот, кто выкладывает все козыри за идеализм, кто бесстыдно возвысился над болотом.

Несколько заметок: 1) «Поклонники и убийцы» — очень популярный в конце 60-х роман В. Парала; 2) в монастыре Клемента в старом городе Праги находится университетская библиотека Карла.

В первой половине 70-х в вузы принимались далеко не все желающие и способные стать студентами: сыновьям оппозиционеров и либеральных профессоров путь туда был заказан. «Потерянное поколение»? Отчасти... Слабые торчали по кабакам и служили в должности вахтера, сильные закалялись на каменоломнях.

УЛДИС БЕРЗИНЬШ

ИОЗЕФ ПЕТЕРКА



СТУДЕНЧЕСКАЯ ОДЕЖКА

Ранехонько, аккурат в восемь тридцать, открывается зал периодики. По лестнице всходит река светлых голов, студенческие пассии, «Поклонники и убийцы»! всех досегоднешних схем научного словаря Отто и модных причесок, всех досегоднешних фраз и словечек, которые мы наследуем, пусть и в застылом виде, минуя творческий принцип в них во всех. Здесь Фауст и Мефистофель, ученье и грех.

Молодой человек из многих — используем метод случайной выборки — парень в модной стеганке цвета хаки, хотя с военными не в ладах, подходит к ящикам генерального каталога и сует свой мужественный нос между карточек.

Он — рослый, без комплексов, короче говоря — спортивная натура. С таким же успехом мог бы крушить уголь или тот же камень в каменоломне и разбивать крепкую голову о жизнь. И очень возможно, что кое-кто с улицы скажет о нем: чернильная бестия. Но ясно при этом, что девушку, листающую словацкий журнал «Девчонка», он все еще не замечает, хотя она была бы непрочь его зацепить. Эту сценку снимает камера с божественной перспективы и чихая на всякий ракурс. Не знаем его специальности, не ведаем какого он происхождения и что за анкетные данные, не знаем его характера и интересов, не говоря, уж конечно, о будущем. Но все же глаз камеры, всегда такой объективный, наблюдает все это вместе с поэтом, с этим старым помешанным книголюбом, и задерживается, как бы с сочувствием к маленькому взрыву новой вселенной, к великому мгновению сосредоточенной работы, когда все тут, когда универсум сжат в генеральный каталог и лежит перед ним, взлохмаченным и строптивым, неспособным справиться со вселенной, потому что всегда за нее кто-нибудь хватается, выживая точные сведения по своей теме и выбором протестуя против энтропии, и на карточке с выходными данными поднимает к носу, глазам и ко лбу именно тот кусочек земли, что возделывать надлежит.



Черт побери, как эта тяжесть давит
на пустые сердца людей без интересов!

Ранехонько, аккурат в восемь тридцать,
открывается зал периодики;
технари и гуманитарии вперемешку
до сих пор сидят рядом на скамьях и жгут
настольные лампы, светом их населяя
энциклопедии надличностных формул,
словно покинутые шахты в Йилове,
которые мы должны теперь снова открывать . . .

Уплывут два часа пятнадцать минут,
и на кафедре окажутся учебники
по гравитационному полю. Сдается нам,
этот физик, объективная душа,
является прямо-таки идеальным героем своего времени,
таким неизломанным, как подъем ввысь
ракеты, которая преодолевает притяжение
разумной работой, стремясь к ноосфере.
Только вот эти внешние представления
(о человеке программы и гармоничных элементов
в пирамидальном скелете цивилизации)
нужно бы исследовать прямо в его нутре,
которое хочет вселенной, являясь этой вселенной.

«Задраен в себе, как в космической гондоле,
я ищу, кто я есмь, совлекая себя с себя же,
утоплен в своих пяти чувствах, как в озере
нашей ледниковой Шумавы,
но все-таки вовсе в себя не погружен себялюбием,
как человек, навеки добившийся своего,
как человек, прославленный всюду и признанный,
который уже ничего, кроме себя самого не желает,
кроме status quo и приличной пенсии,
и, отключив телефон, прокручивает
хит о счастливом пребывании в толпе,
ничего подобного. Стыд не позволит мне
быть надутым, заносчивым, тем, кто
с легкостью лозунгом тут же изменит весь мир и погоду и даст
советы

в случае мелких жизненных катастроф,
как-то: не принят на работу в отсутствие протекции,
как-то: должность занята бездарем до гробовой доски,
как-то: сердце замкнулось и переменилось после развода,
либо: вдов обирает налоговое управление.

Ощущаю себя на равных с товарищами из каменоломни:
они признали мои плечи, я — их сердце,
ни кипа бумаги, громоздящаяся между нами,
нас не разделит, ни завалы,
ни силикоз, ни, что было бы хуже, наговоры,
что мы одно и то же и все же не одно и то же,
что одни-то в целом целостные,
а другие в целом без трещины,
такие наветы нас не разлучат,

ибо мы не расходимся в общественном интересе
добывать гранит и добывать истину,
ведь истина без гранита слегка иллюзорна,
а гранит без истины употребят во зло,
как бетонную платформу, как бастион
вокруг частных кортов, запасаясь на случай
худших времен и расстройств дела.

Мы с ними на равных. Результат нашей работы
контролируется, и время решения
задачи по матанализу
не короче смены в каменоломне.
О нас, идущих каждое утро к зачету,
там, внизу, никто не скажет, что лишние.
Ведь человек, дробящий камни, анализирует,
а мужчина, штудирующий ночью, выдает на-гора,
мы в одной чаше на мировых весах,
где Фауст и Мефистофель, где мысль и прах . . .»

Аккурат пол-двенадцатого бьет на башне.
В Карловце «У змеи» рядом с Клементиумом²
кто-то поднимает свои первые пятьдесят
охотничьей водки — нашего чешского виски —
насилуя печень . . .

За утраченные возможности
карьеры ли, гениальности,
пьет, может быть, машинально, со скуки,
пьет, может быть, из-за позы, называющейся хандрой,
пьет, может быть, в нарциссизме томления
в честь затянутой в кожу кошечки,
а может быть, это скамьи читальни
в метастазе превращаются в стойку бара.
И мы в кабаке на равных:
студентка и ассистент,
фарцовщик и таможенник,
девка с котом,
тот, кто пишет в стол, с тем, кто себя продает,
кто покупает, с тем, кто ему продает,
но все же не на равных мы с теми, которые
мимо полуоткрытых дверей проходят так скоро,
тем паче за колесом удачи, неостановимы.

На Карловом мосту, поется, розмарин в цвету,
а с неба поливает его добрый дождь.
Тут встанешь и замнешься. Сумку на плечо.
Пойдешь-побредешь.

«Вы не знаете еще моей специальности, не ведаете,
какого происхождения и что за анкетные данные.
Но все же несу я в общагу точные сведения по своей теме.
Личность я, иль о себе воображаю в бреду,
в этом все дело.

— С тем и мост перейду».

Перевел Алексей ПРОКОПЬЕВ





OK

Оскар Кокошка. Рисунок. 1912

Публикуемые ниже заметки Анны Ахматовой (часть из которых печаталась ранее в существенно сокращенном виде) сохранились в копиях у близких знакомых Анны Андреевны.

«Искры паровоза» — рассказ о создании стихотворения, написанного в ожидании известий об арестованном в начале августа 1921 года Гумилеве:

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать,
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.

Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.

Две заметки о судьбе поколения 1910-х годов написаны в полемике с тем сентиментальным культом «ревущих двадцатых», который наметился во время послесталинской оттепели. Для Ахматовой — эпоха НЭПа — карикатура на русское духовное возрождение начала века, прерванное первой мировой войной и последовавшим «беспамятством смуты».

Заметка о «Поэме без героя» связывает читательскую судьбу этого значительнейшего из сочинений Ахматовой с возродившимся в начале 1960-х годов — в славистике, в русской эмиграции, среди молодых читателей в отечестве — интересом к русскому символизму и постсимволизму. Упрек в старомодности поэмы Ахматова слышала не только из уст Марины Цветаевой. В погромные дни сорок шестого на страницах «Литературной газеты» критик

Семен Трегуб напечатал полученное им за два года до того письмо комсомольца из города Иваново. По сути дела это было доносом на ненапечатанное еще и скорее всего неизвестное составителям ждановского доклада «самиздатовское» произведение: «Ее последняя поэма («Поэма без героя») возмутила меня. Прав я или нет, но это такое декадентство и символизм, которым можно было восхищаться во времена Бальмонта — Брюсова, но отнюдь не сейчас, в дни борьбы с фашизмом». Но, как мы видим, к пафосу ретроспекции в шестидесятых годах Ахматова относилась с разбором, следуя своим давним симпатиям и антипатиям — Брюсова она воскрешать не собиралась, каких-то поступков не прощала и Вячеславу Иванову (когда она пишет о кровосмешении, она имеет в виду, что Вяч. Иванов женился после смерти жены на своей падчерице).

Инициалы сегодняшней читатель легко разберет сам. «Свет вечерний» — сборник стихов Вячеслава Иванова, Баура и Исайей Берлиным. Роман Ж.-П. Сартра «Тошнота» читатель прочтет в этом году в «Иностранной литературе». Древнегреческая поэтесса Сафо, с которой Ахматову сравнивали со дня выхода «Четок» до самой смерти, дала имя марке папирос. Во Флоренции Ахматова была в мае 1912 года. Георгий Владимирович Вернадский (1887—1973), сын академика В. И. Вернадского, и Михаил Иванович Ростовцев (1870—1952) — выдающиеся историки. Остальные из упоминаемых имен сейчас, кажется, у всех «на слуху» и в разъяснениях не нуждаются.

РОМАН ТИМЕНЧИК

АННА АХМАТОВА

ИЗ ПРОЗАИЧЕСКИХ ЗАМЕТОК

ИСКРЫ ПАРОВОЗА

1910-е ГОДЫ

Я ехала летом 1921 из Царского села в Петербург. Бывший вагон III класса был набит, как тогда всегда, всяким нагруженным мешками людом, но я успела занять место, сидела и смотрела в окно на все — даже и знакомое. И вдруг, как всегда неожиданно, я почувствовала приближение каких-то строчек. Мне нестерпимо захотелось курить. Я понимала, что без папиросы я ничего сделать не могу. Пошарила в сумке, нашла какую-то дохлую Сафо, но... спичек не было. Их не было у меня и их не было ни у кого в вагоне. Я вышла на открытую площадку. Там стояли мальчишки-красноармейцы и зверски ругались. У них тоже не было спичек, но крупные, красные, еще как бы живые жирные искры с паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать к ним мою папиросу. На третьей (примерно) искре папироса загорелась. Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. «Эта не пропадет», — сказал один из них про меня. Стихотворение было: «Не бывать тебе в живых». См. дату в рукописи — 16 августа 1921 (м. б. старого стиля).

10-й год — год кризиса символизма, смерти Льва Толстого и Комиссаржевской. 1911 — год Китайской революции, изменивший лицо Азии и год блоковских записных книжек, полных предчувствий... «Кипарисовый ларец»... Кто-то недавно сказал при мне: «10-е годы — самое безвкусное время». Так, вероятно, надо теперь говорить, но я все же ответила: Кроме всего прочего это время Стравинского и Блока, Анны Павловой и Скрябина, Ростовцева и Шалапина, Мейерхольда и Дягилева. Начинали Мандельштам, Пастернак и Цветаева. Я уже не говорю о Маяковском и Хлебникове. Это полностью их время. Во Флоренции во дворе Уффици в нишах стоят статуи Данте, Петрарки, Бокаччо, Микельанжело, Леонардо. Я думала — это головы великих людей. Итальянец сказал: «Нет, это просто уроженцы Флоренции». То же 10-е годы.

Конечно, в это, как и во всякое другое время, было много безвкусных людей и дутых репутаций (например, Игорь Северянин), подозрительна также «слава» Брюсова



(однако тогда она уже сильно померкала). По сравнению с аляповатым первым десятилетием — 10-е годы собранное и стройное время. Судьба отстригла вторую половину и выпустила при этом много крови (война 1914). Кто-то (другой) сказал мне: «Те, кого вы встречали в Париже в 10, 11 гг., и были последние французы. Их всех убили под Верденом и на Марне». Потом я прочла это в «Le sursis» Сартра.

Хороши были и те, кто в 17 г. летом поехали играть в теннис на крымские курорты. Они до сих пор не вернулись. Сильно затянувшийся game? Как страшны эти оборванные биографии.

* * *

Такой судьбы еще не было ни у одного поколения (в истории), а может быть не было и такого поколения. 20-е годы, которыми теперь принято восхищаться, — не то, это сила инерции. Блок, Гумилев, Хлебников умерли почти одновременно, Ремизов, Цветаева и Ходасевич уехали за границу, там же были Шаляпин, М. Чехов, Стравинский, Прокофьев и $1/2$ балета (Павлова, Нижинский, Карсавина). Наука потеряла Ростовцева, Бердяева, Вернадского. Б. Пастернак примолк после гениальной книги лета 1917 года (вышла в 1921 г.), растил сына, читал толстые книги и писал свои 3 поэмы. У Мандельштама, по словам Нади (Н. Я. Мандельштам), было удушье, к тому же он был объявлен бриковским салоном — внутренним эмигрантом, Ахматова была кое-как (1925 г.) замурована в первую попавшуюся стенку.

Когда в июне 1941 г. я прочла М. Ц. кусок поэмы (первый набросок), она довольно язвительно сказала: «Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41 году писать об арлекинах, коломбинах и пьеро», очевидно полагая, что

поэма — мирискусничная стилизация в духе Бенуа и Сомова, т. е. то, с чем она, м. б. боролась в эмиграции как с старомодным хламом. Время показало, что это не так. Время работало на «Поэму без Героя». За последние 20 лет произошло нечто удивительное, т. е. у нас на глазах происходит почти полный ренессанс 10-х годов. Этот странный процесс еще не кончился и сейчас. Посталенинская молодежь и зарубежные ученые-слависты одинаково полны интереса к предреволюционным годам. Мандельштам, Пастернак, Цветаева переводятся и выходят порусски. Гумилев перепечатывается множество раз, о Белом защищают диссертации и в Кембридже и в Сорбонне, о Хлебникове пишут длинные ученые работы, книги формалистов стоят *les yeux de la tête*. У букинистов ищут Кузмина, у «всех» есть переписанный Ходасевич. Почти никто не забыт, почти все вспомнены.

Все это я говорю в связи с моей поэмой, потому что, оставаясь поэмой исторической, она очень близка современному читателю, который втайне хочет побродить по Петербургу 1913, хочет сам узнать всех, кого он так любит (или так не любит). Представители ленинградской элиты спрашивают меня, в каком номере «Русской мысли» напечатана статья Недоброво о «Четках», а кэмбриджец Антони Кросс пишет работу о «Четках» к 50-летию выхода этого сборника (30 марта 1964).

Б. П. думал, что за границей интересуются им одним. Это было одной из его ошибок. Еще одно: по мере того, как уменьшается интерес к Блоку, — вырастает интерес к Андрею Белому, о котором сейчас все говорят. Но что, о Боже, будет с Сологубом, неужели он останется так прочно забыт (Ал. Ремизова очень любит и помнит за границей).

В Оксфорде настоящий культ Вячеслава Иванова («Свет вечерний» и статьи. Сэры Bowга и Verlin ездили к нему на поклон (между нами говоря, это было зрелище для богов!)), ему разрешено все вплоть до кровосмешения.

ОЯРС ВАЦИЕТИС

ЗЕМЛЯ

Мария, ты мне обещала в ту ночь, когда
перестанут
стрелять в каждого, кто ходит ночами,
что ты пойдешь
со мной вдоль цветущего поля ржи до конца, до
следующего поля и снова до следующего,
пока я не
почувствую вдруг, что ты — святая.

Тебя закопали где-то в конце второго поля,
потом мы
долго со стариками твоими землю рыли,
вырыли целый
карьер, ища тебя, а потом проходила другая,
и я за нею
ушел, а старики остались копать, пока не
померли сами.

Мария, эта земля полынная, нам
возвращающая лишь пот
и труд и ни гроша в придачу от боли,
ненависти, любви —
эта земля полынная наша, пот
возвращающая и труд,
в себя вобравшая и потерявшая ту Марию,
которая мне
дала обещанье, что я почувствую рядом
святую, —
слово свое сдержала.

Эта земля — священна.

Перевел ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ

Умер Сын человеческий на своем кресте, последователи и ученики описали его жизнь и сотворили Легенду, Иоанн увидел самый страшный из снов и облек его в страшные и загадочные слова . . . Новый завет был закончен, апокрифы из него выбрасывались. А люди продолжали распинать людей на крестах зависти и страха, войны и безнадежности. И, чем ближе к нашему времени, тем больше Апокалипсис становится похожим на действительность.

И возникали все новые и новые страницы Священного писания — на разных языках, в разных веках. Вот перед нами одна из этих страниц.

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ



+

1942
r a 2

ab mn

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

1942 3195 61

+

+

+

+

REPRODUCED FROM THE

OFFICIAL RECORDS OF THE

UNITED STATES GOVERNMENT

WASHINGTON, D. C. 20540

1942 3195 61

Все что нежит — даль да близь.
И. Анненский

О да! к самой обочине такие мутнозеленые без стеснения
Молодые помой выплескивают. И уже обиды прежней нет.
Это жизнь ласточкой к распаду приклеилась, убежала тления,
Шпанком и расплеткой впитывает свет.

Я свой адрес прежний забыл навсегда, за непроницаемым,
Крупнозернистым родным рубероидом, за спящей в швах
Жирным битумом память теснится. О Цирцея... зедь лица ее
Не признаю, прости, в двух шагах.

В садке за серым веществом, к губам поближе, в переполненном
Уме расставой, горечью, укором, — смеркался день, как жизнь,
Поближе к сумасшедшим флоксам. О, розоватых смол на нем
Натеки легкие, и все что нежит — даль да близь.

Как Петрик, что когда-то менингитом переболел, оплыл и вымахал.
С порфеличиком гуляет во дворе и детской кобурой
У пояса, небритый. Боже мой. И счастлив он без вывиха
И тридцать лет ему как мне и на сердце покой.

Суденышком на сладкой отдели не он ли спит себе, полеживает
Бокастой баркой на песке? Никто не оскорблен
Безумием его полурастительным. Течет по коже свет
Волною радостной.

Крыжовник сумрачный, улыбчивый паслен.

Лоза иона уже зеленые тесемочки выпростала, ручки
Слабые к щербинкам тянет, чтоб намертво
Прильнуть к неродившимся дням моим лучшим —
О, как почки лопаются подглядела душа — кинокамера.

Ах, точно так же беззастенчиво на глазах дети
Растут. Я на стремяночку взобрался качающуюся
Словно плещ, словно слабый барвинок. Разве еще что-то светит
Нам впереди? Лампочка перегорела пыльная отчаявшаяся.

Так все интеллигентно было — ни ссадины тебе, ни гематомы.
Жарким зерном в элеваторе, пылью золотистою
Боль осадет. Что губы пели! Бобэоби! Жалких чемпионы
Полуулыбок, ухмылок. Ну выживу разве я, выстою?

С жаркой кровью улитка, прозрачной лимфой, мрачной
Розовощеной душой. В учебном фильме рост одуряющий
Узкогубых бутонув немых. Все к стене лицо отворачивал
Перед смертью отец мой, лежал настом подтаявшим.

И во мне вольфрамовая стружка, сережка, спираль витая...
Жалобы глинобитные напрасны, взгляды. Разве ты
Ждешь еще чего-то, ластишься, пунктиром летаешь
Личинка крылатая, душа, не по летам развиваешь...

И во вторник не пошел, и в следующий профилонил, и еще раз, и еще
В институт усовершенствования учителей...

Так и останутся папоротником примитивным, рядовым хвощом,
Трутнем румяным с рождественскими веточками бровей,

А может у меня и колени назад повернуты и на зеленой груди
Треугольное зеркальце бьется? «Гинь-пинь», —
Не смутясь тарарахну в самой середине урока, посреди
Теоремы. Медиана, прижмись к биссектрисе, в объятья ее хлынь!

Видел-видел, как пчелки пунктиром из прямого угла,
Будто из улья летели — одна за другой.

И душа не волнуется, дремлет дуриха — когда бы могла
Знать заранее все — нет! ириской мелькает в тиши за щекой.

Кто-то вывинтил гаечку, и теперь погибаешь, без видимых сил
Анемичный, мой циркуль, лежишь. Ненаглядных пособий ручьи
Утекли от меня безвозвратно, в кабинете гнездо свое свил
Беспорядок. Бумажки, ответьте, вы чибисы чьи?

О когда б как Саша Ланцов безумно свой магнитофон
Полюбить бы я смог замирая... На полочке млеет в мелу
Беспорядочная тряпка — подруга. Ах, ее телефон
Не попросит никто, отправляясь в сумятицу, мглу...

УВИДЕВ ДЕВУШЕК С ПОВЯЗКАМИ ДНД

Три крушины с жаркими кумачевыми повязками,
Кровяные шарик ДНД — вот вы после надоедливото
Дня конторского гродзьями прогугливаетесь, связками
Тактичного винограда. Винодел где?

В темной подворотне нет ли его?

Разве в жилах его не пиво гудит правофланговое,
Нежным хмелем струясь? Он за девушками хмурыми
Хромосомой спешит. Это небо белесое, тихое, на все готовое,
Эти мальвы пыльные недотепами прикинулись, полными дурами.

Там, где в мельнице Шмидта теперь комбикормовый с заводью
Воробьиной бушует завод, где прикорнуз общезжитие
У путей соловует, целуется кто? О по правде ведь
И ходить тут не стоит. На слиянье наткнешься!
Потише: соитие...

Вот и выброшена, какой-то ерундой за забор переброшена
Нежность, ни капли влаги нет под жабрами.

Между шпал легкой щебен, говорливое крошево.

О развал, о разруха, разрыв, сизый дым не встужает под ребрами.

Кем ступка перетерто в песок, кем размолото грубозеленое,
Крупноржавые окна домов с липкой руганью — «ё-моё...»
Летних дней анемичные, полумертвые мускулы...

НИКОЛАЙ

ВИЛОУЧЕЛИ

Как выносят их на сцену тяжких, шею им пережавтив
Черную такую, тянут их тела женственные, нефтеналивные,
Где полочается мотив
Быстротечно, тщетно. Или дремлют бабочки внутри волосные,
Шапочки такие нацепив,
Ушки закупорив слюдяные.

До поры до времени. О, какая там внутри, пожалуй, духота
В деревянной комнатке сухой, ясеневой, буковой, ворсистой.
Я себе приснился явором звучащим. С: тахта
Стонов полная, баржа тоски, канистра
Сладкозвучного бензина... Нет, не так
Называть хочу тебя, молчащая, вздыхающая быстро!

Кто с гуденьем внутрь врывается? С бледным перистым огнем?
Через прорези двойные. Кто идет на убыль
Через четверть такта! Мы с тобою пьем
Звуки половинчатые, губы,
Их обиженный смущенный окоем.
Почелуи бережливые... Слова шептать к чему бы?

Мне как будто не хватило этих талых, этих легких струн...
Кто понятным быть боится, медленным басовым?
Музыки приятель, говорун?
О когда бы за пугливым словом
Только шум угадывался, шум
Нефтеносным, скажистым, лиловым...

Бритвенная бабочка легка в своей мучной гордыне:
Белая, стальная, трезвая,
С прорезью немой посередине.
Осторожно, осторожно держат в пальцах маленькое лезвие.

Осторожно нежный дикий рой травы срезающая,
К скулам прижимаясь безоглядно.
О, совсем забыл — глаза еще
У безумной есть пергаментной, упрямой, всеядной.
Череда сравнений, ум наш застилающая
Пеленой невнятной.

Стрекозой звенящей, бабочкой — можно ли, скорей ответь, — пораниться?
В переносном смысле? В саване, припомни,
Слит двубортном дурочка, заранее,
Заживо одета. О, Урания!
В дорогой обертке праздничной, как вид ее знаком мне!
Долгий сон прижизненный, метания...

В детской пене мыльной розогретой,
Ионической должно быть спим, полунуту барахтаемся.
Я конвертик надрывал с письмом стальным, приветом.
Родная, бархатная,
Бессловесная — каймою быть задетым...
Липнешь к полочке чуть влажной вся распахнутая
Разворотом полным, трафаретом...

К О Н О Н О В

ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ

Ах, не запомнил, не заполнил, запаматовал, зазевался, забыл я
Страницы сведений по профориентации, целеная
От двадцати экземпляров. Копирки ночные ломкие крылья,
От слюя к слою кровь пробивается слабее.

Чтоб и моя цифирка, мелкая, ломкая, прикорнувшая галочка
На общем проценте сказала, ничтожная.
Стая жить как сверток какой-то: положен себе на полочку
До поры до времени. О тепло елезеленое, подкожное.

Иногда и сердца в груди не слышно — заснувшая рыбка,
Жучок бокоплав, розовая улитка виноградная.
И знака не подает. Во сне хмелея, улыбаются зыбко.
Так и надо стало быть? Парты выкрашены краской безотрадной.

Забудьте разве соседствует с укоризной? Вот и ночь наваливается
Оравой сварщиков дальних: стройки там ударные, запарка...
Звезда к звезде окалиной прилипнет, прилипнет, сжалится.
Как хорошо им, видимо, не жарко.

О какая дистанция в пятилетку от сотования до жалобы:
Дождь жестяной скребется виновато.
«Я жизни не боюсь», когда б сказал так — вмиг пропала бы
Застыла б на лету сестра моя, исчезла без возврата.

Под дождичком, под дождичком на углу Литейного и Невского
Сладко после службы командовать: такое неустовое
Пешеходоперебеганье сдерживать от шага дерзкого,
В крохотной коробочке горошину гонять, то есть пошвыстывать.

То есть губами отогревать голубую пластмассу пресную.
Ах, в затрапезном плаще разве понравится
Трезвомыслящей женщине можно? Кем воскресну я
По Федорову? Свистком, которым милиционер поддается!

Или по Гафизу стаканом — в автомате газированной
Боксерской воды, — буду свергать в ознобе, страхе, нокауте?
Двукопеечной монетой взволнованной
Разговоры подслушивать скорые. Что вы о любви знаете?

Как в темле кишечно-полостном польскую «Анатомию
Любви» крутят неделю. Как невсякая вода прибывает тихо, без паники.
Скоро застынет совсем. Может по льду съезжу в Эстонию...
Кто всех несчастней на свете? Регулировщики, кинемеханики.

Кто всех ласковой, всех виноватей? О, как тихо попискивает
Сердце под пиджаком, подкакивает. И не излишне
В переменчивом воздухе влажном объятие тяжкое — стискивает
Мрачным обручем тело — какую-то жалкую вишню.

В ГОСТЯХ У ЛИТЕРАТОРОВ

В гостях у Горького

«В самый, в самый раз к обеду, там все и обсудим», — сказал Алексей Максимович, знакомясь с гостями у виллы Сорито. Поговорить о судьбах литературы народу прибыло много — из дружественных стран Европы и Америки, а также работники советского полпредства и местных властей. Гостей быстро доставлял к вилле из Сорренто на гоночной машине сын Алексея Максимовича Максим Алексеевич. Там их уже ждали — гонг настойчиво сзывал к обеду. На столах среди тарелок пестрели разноцветными наклейками бутылки. Гости шумно рассаживались. И настолько радушен, сердечен оказался хозяин, что буквально через час один молодой английский писатель с чувством воскликнул: «Выпьем за русского Рафаэля, за нашего хозяина!». Алексей Максимович строго посмотрел на молодого гостя и сказал: «Не умеем мы разговаривать с иностранцами, — и добавил, выпивая бокал лакримо кристи, — а я считаю, что Ломоносов ничем не меньше Гете, а как ученый — побольше!». Принесли перемену блюд. Разговор о литературе принял задушевный характер. «Талантливый человек, — сказал Алексей Максимович, дожевывая осьминога, — будет писать, — и добавил, обводя взглядом столы, — впрочем неталантливые тоже». Разговор о литературе принял откровенный характер. «Литература — это душа писателя, — сказал Алексей Максимович, — а моя душа кричит, как рыжая кошка и шерсть дыбом! — Алексей Максимович выпил бокал кьянти и добавил, — полегчало немножко». Принесли кино. «Каждый, — сказал Алексей Максимович, — должен мой фильм «Мать» смотреть». Посмотрели. Помолчали. Вышли из виллы в темную душную ночь. Видно было море, и Везувий и столб огненного шара над ним, освещающий синеву моря и лазурный берег. Принесли на берег столы с вином. Зажгли костры. Алексей Максимович выпил бокал чинзано, посмотрел пристально на молодого английского гостя и спросил отрывисто: «Поговорим о любви. Что вы больше любите, огонь или воду?». Тот смутился. Ночь догорала, освещенная Везувием. «Давайте музыкантов пригласим», — предложил Алексей Максимович, помешивая палкой в костре. Хором стали звать. Собрались музыканты, наскоро настраивали струны, смущались. «Выпьем с людьми», — предложил Алексей Максимович. Выпили. Ну и заиграли же они. И полилась, полилась знойная, трепещущая неаполитанская песня. Уже всех гостей разморило, стихи разговоры о литературе, а песня все льется и льется.

На утренней заре разносили по комнатам работников советского полпредства и местных властей. Литераторов из дружественных стран Европы и Америки отвозил в Сорренто на гоночной машине сын Алексея Максимовича Максим Алексеевич. На лазурном берегу стояли рядом Алексей Максимович и советский полпред, провожая гостей. «Пора, пора на родину, — тихо говорил Алексею Максимовичу советский полпред, — народ ждет своего пролетарского писателя». Алексей Максимович ничего не отвечал, смотрел вдаль. Ветер трепал, озаренные Везувием, полы его широкополой шляпы и рыжие усы. Молодой английский писатель, перед тем как его внесли в машину, приподнял голову, посмотрел на хозяина и задумчиво сказал, как бы про себя: «Хороший человек, наш Алексей Максимович.»

В гостях у Шолохова

«В самый, в самый раз к обеду, там все и обсудим», — сказал Михаил Александрович, знакомясь с гостями на краю своего степного аэродрома. Поговорить о судьбах литературы народу прибыло много — из ГДР, Болгарии и других дружественных стран, а также работники ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. Гостей быстро доставили к дому Михаила Александровича. Там их уже ждали — на большом лугу в тени деревьев были настланы дорожки,

стояли тарелки для ухи, пестрели разноцветными наклейками бутылки. Гости шумно рассаживались за столы. Василий Белов и Олжас Сулейменов сели рядом. И настолько радушен, сердечен оказался хозяин, что буквально через час один молодой венгерский поэт с чувством воскликнул: «Известно, что Дон впадает в Азовское море, но прошу заметить, что он впадает и в наши сердца». «Горопишься с комплиментами, — сказал Михаил Александрович, — я требователен к молодежи». Михаил Александрович обвел взглядом столы и добавил: «У меня к тому есть основания». Василий Белов и Олжас Сулейменов переглянулись. У Михаила Александровича спросили, что он ждет от молодежи. Михаил Александрович пристально посмотрел на молодого венгерского гостя и ответил: «Я всегда смотрю на молодежь с надеждой, как на яблоно в цвету, когда ждешь от нее первых плодов». Разговор за столом принял задушевный характер. Кое-кто из гостей поинтересовался, куда пошли деньги за Сталинскую, Ленинскую и Нобелевскую премии. Михаил Александрович ответил, что в фонд обороны, а также на покупку 50 овец эдильбаевской породы. Помолчали. «Да, что о Нобелевской премии вспоминать, — сказал вдруг Михаил Александрович, — вручали мне ее в золотом зале, но в вашем обществе мне веселее сердцу». Принесли перемену блюд. Разговор о литературе принял откровенный характер. «О чем писать? — размышлял вслух Михаил Александрович, — а ты как считаешь?» — неожиданно спросил он у молодого венгерского литератора. Тот поперхнулся и покраснел. Василий Белов и Олжас Сулейменов улыбнулись. «Скажу, как рядовой читатель, — ответил сам себе Михаил Александрович, — я за те книги, которые помогают людям больше видеть и, — Михаил Александрович ласково усмехнулся, — глубже знать».

Июньское солнце заливало своим благодатным теплом землю и вонзало золотые стрелы в донскую небиструю рябь. «Тихая вроде, а какая в ней могучая сила!» — восхищенно воскликнул Михаил Александрович. «Поговорим о наших войнах. Патриотизм надо воспитывать с пеленок, — Михаил Александрович показал на стоящих неподалеку работниц местного общепита и добавил с легкой грустинкой в голосе, — вот и жизнь такая же неудержимая». Василий Белов и Олжас Сулейменов тоже взглянули на работниц. День догорал, все сидели в столовой, слегка усталые, разморенные. «Давайте девчат пригласим», — предложил Михаил Александрович. Хором стали звать. Собрались женщины, наскоро снимали передники, смущались. «Угостите для храбрости», — попросили женщины. Угостили. Женщины держали рюмки в руках, но не пили. «Нашли чем угощать, — усмехнулся Михаил Александрович, — да они коньяк не пьют». Налили водки... Ну и пели же они. Уже всех гостей разморило, кроме Василия Белова и Олжаса Сулейменова, а песня все льется и льется.

Далеко за полночь разносили по комнатам гостей. Василий Белов и Олжас Сулейменов легли рядом. Стихи разговоры о литературе. Уже унесли гостей из ГДР, Болгарии и других дружественных стран, а также работников ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. За столом остались лишь молодой венгерский гость и весь залитый светом Михаил Александрович. Ветер трепал его седой чуб. Молодой венгерский поэт попытался встать из-за стола, посмотрел на хозяина и задумчиво сказал, как бы про себя: «Хороший человек, наш Михаил Александрович».

В гостях у Катаева

«В самый, в самый раз к обеду, там все и обсудим», — сказал Валентин Петрович, знакомясь с гостями у себя дома в Переделкино. Поговорить о судьбах литературы народу прибыло много — из братских союзных республик, а также участники семинара «Ленин в Шушенском». Гостей быстро доставили на скором поезде из Сибири к дому писателя и по скрипучим ступеням деревянной

лестницы через маленькую железную дверь в стене провели в рабочий кабинет Валентина Петровича. Там их уже ждали. На столах среди тарелок со стерлядью пестрели разноцветными наклейками бутылки. Гости шумно рассаживались за столы. Сергей Михалков и участники семинара сели рядом. И настолько радушен, сердечен оказался хозяин, что буквально через час один молодой одесский драматург с чувством воскликнул: «Известно, что Одесса — венец Черного моря, но прошу заметить, что наш хозяин — венец советской литературы». Валентин Петрович пристально посмотрел на молодого гостя и сказал: «В моем алмазном венце много звеньев. Среди писателей есть и способные. Об этом я много думал в Буживале и Лонжюмо». Принесли осетрину на вертеле. Участники семинара зашевелились. Разговор о литературе принял задушевный характер. Валентин Петрович окинул взглядом Сергея Михалкова: «Неглубоко вскопана ленинская тема в детской литературе. Я много думал об этом в Буживале и Лонжюмо, но дерево посадил в Шушенском». Принесли фаршированную щуку. Участники семинара зашевелились. Разговор о литературе принял откровенный характер. Валентин Петрович посмотрел на стол и озабоченно спросил: «Где же мои рукописи, которые я отнес в «Новый Мир», — и добавил, напряженно прислушиваясь, — с минуты на минуту жду ответа». Принесли камбалу в красном вине. Участники семинара зашевелились. «А не завести ли нам граммофон», — предложил Валентин Петрович. И полилась, полилась революционная рыбацкая песня. Уже всех гостей разморило, даже Сергея Михалкова, а песня все льется и льется.

Поздно вечером разносили по комнатам гостей. Стихли разговоры о литературе. Уже унесли гостей из братских союзов республик, а также участников семинара «Ленин в Шушенском». Яркие переделкинские звезды заглянули в окно рабочего кабинета писателя, осветили стоящего у маленькой железной двери в стене Валентина Петровича и алмазным венцом расположились над его седой головой. Когда выносили по скрипучим ступеням деревянной лестницы молодого одесского драматурга, он оглянулся на хозяина и задумчиво сказал, как бы про себя: «Хороший человек, наш Валентин Петрович».

В гостях у Кочетова

«В самый, в самый раз к обеду, там все и обсудим», — сказал Всеволод Анисимович, знакомясь с гостями в редакции журнала «Октябрь». Поговорить о судьбах литературы народу прибыло много — из дружественных стран Азии, а также борцы за мир. Гости быстро доставили на метро в редакцию. Там их уже ждали. На столах среди тарелок с салатом из трески с хреном пестрели разноцветными наклейками бутылки. Гости шумно рассаживались. Николай Грибачев и Анатолий Сафронов сели у двери. И настолько радушен, сердечен оказался хозяин, что буквально через час один пожилой новгородский секретарь обкома с чувством воскликнул: «Известно, что Новгород — родное гнездовье нашего хозяина, но хочу заметить, что его гнездовье также — наши сердца». Всеволод Анисимович окинул взглядом пожилого гостя и сказал, отепляясь лицом, пряча под надбровья светлую хитринку: «Торопишься с комплиментами. Бери пример с молодежи, а молодежь в Шри Ланке крепко борется за мир». Принесли салат из северюги с помидорами. Выпили московской, запили квасом. Разговор о литературе принял задушевный характер. «О чем писать? — размышлял вслух Всеволод Анисимович, — мне по плечу высокая тема, но прошу учесть, молнии бьют по вершинам». Разговор о литературе принял откровенный характер. Всеволод Анисимович посмотрел пристальным, всепонимающим взглядом прищуренных пронзительных глаз из-под привислых бровей на сидящего у двери Николая Грибачева, а также на Анатолия Сафронова, и спросил: «Чего же ты хочешь, человек?». Затем обвел строгим взглядом столы и ответил: «Мира во всем мире».

Стояла августовская теплынь, и чистое московское небо с зовущим бесконечьем мягкой, ровной голубизны

растворяло все вокруг шемющим чувством беспредельной жизни. «А не послушать ли нам песню?» — предложил Всеволод Анисимович. Включили радио. И полилась, полилась протяжная народная песня. Николай Грибачев и Анатолий Сафронов, сидя у двери, стали подпевать. Уже всех гостей разморило, давно смолкло радио, стихли разговоры о литературе, а песня все льется и льется.

На вечерней заре развозили до метро гостей из дружественных стран Азии, а также борцов за мир. Один пожилой новгородский секретарь обкома, перед тем, как выйти на пенсию, вспомнил строгие черты чуть удлиненного и все же правильного лица хозяина и сказал, как бы про себя: «Хороший человек, наш Всеволод Анисимович».

В гостях у Михалкова

«В самый, в самый раз к обеду, там все и обсудим», — сказал Сергей Владимирович, знакомясь с гостями в своей московской квартире. Поговорить о судьбах литературы народу прибыло много — из соседских краев и областей, а также члены Академии педагогических наук. Гости быстро доставили к дому Сергея Владимировича на такси. Там их уже ждали. На столах среди тарелок с окороками пестрели разноцветными наклейками бутылки. Гости шумно рассаживались за столы. Никита Михалков и Андрей Михалков-Кончаловский сели рядом с членами Академии педагогических наук. И настолько радушен, сердечен оказался хозяин, что буквально через час один молодой родственник Сергея Владимировича с чувством воскликнул: «Известно, что все любят своих родных и близких, но я больше всего люблю «Дядю Степу». «Голос крови заговорил, — улыбнулся Сергей Владимирович и, пристально посмотрев на Никиту Михалкова и Андрея Михалкова-Кончаловского, строго добавил, — мало еще наша кинематография уделяет внимание небольшим язвам нашей жизни. Чаще смотрите киножурнал «Фитиль». Сергей Владимирович обвел взглядом столы и тихо сказал: «В некоторых краях запрещено смотреть журнал «Фитиль», и к тому у них есть основания». Принесли жареных тетеревов. Запили зубровкой и зверобоем. Разговор о литературе принял задушевный характер. Заговорили о детской литературе. «Сегодня уже не те дети, что тридцать лет назад. Они постарели на тридцать лет, а наша кинематография, — Сергей Владимирович строго посмотрел на Никиту Михалкова и Андрея Михалкова-Кончаловского, — недостаточно это учитывает». Принесли жареных перепелок. Запили зубровкой и зверобоем. Разговор о литературе принял откровенный характер. «Из всех жанров литературы я больше всего люблю драматургию, — заметил Сергей Владимирович, — а из всех пьес свою пьесу «Эхо» в Центральном театре Советской Армии. Там акустика хорошая. Патриотизм нужно воспитывать с пеленок, — и добавил, строго посмотрев на Никиту Михалкова и Андрея Михалкова-Кончаловского, — наша кинематография недостаточно это учитывает. В каждом яслях надо устроить просмотровый зал». Принесли жареных куропаток. Запили зубровкой и зверобоем. «Где бы я ни был, — пожаловался Сергей Владимирович, — в Верховном Совете, в Академии педагогических наук, в дружественном Афганистане — мой мозг продолжает работать. Вот и сейчас я размышляю — кому присудить Ленинскую, а кому Государственную премию». «А ты как считаешь?» — неожиданно спросил Сергей Владимирович у своего молодого родственника. Тот покраснел и подавился костью куропатки. Сергей Владимирович улыбнулся и добавил: «Я требователен к молодежи. У меня к тому есть основания».

За окном догорал неторопливый, по-зимнему морозный день. За горизонтом, томясь, угасало солнце, отражаясь в очках Сергея Владимировича. «А не спеть ли нам?» — предложил, чуть заикаясь, Сергей Владимирович. Запели. И полилась, полилась волнующая молодежная песня. Уже разморило Никиту Михалкова и Андрея Михалкова-Кончаловского, а песня все льется и льется.

Перед самым рассветом увозили на такси гостей из соседских краев и областей, а также членов Академии педагогических наук. За столом остались родные и близкие. Допивали зубровку и зверобой. Один молодой родственник Сергея Владимировича с трудом приподнял голову, узнал по очкам хозяина, посмотрел на него и задумчиво сказал, как бы про себя: «Хороший человек, наш Сергей Владимирович».

СЕРГЕЙ МОРЕЙНО

* * *

я птичий наместник, я царский слуга
легка паутинка, и только заботы
что черни отрезать кусок пирога
да крепко любить сапога отвороты

я так и скажу: это только у нас
так долго не сходит с травы позолота
и в каменных бочках купеческий квас
давно бы сбежал, да бродить неохота

и только у нас не поднять топора
не вырубить сук, не загатить болото
пока тебе старший не крикнул: пора
уже запрягли, выгоняй за ворота

листву притоптало, прибило дождем
пора расходиться гостям по работам
а нам по подвалам — вот так и живем
в ботинках труха да холстинки от пота

* * *

Плюнь в глаза и выдерни их из гноя.
Давайте напишем (каждый) «Книгу Изгоя».

Библия (Ветхий завет) — 24 книги.
Дудки. У нас получится 250 000 000.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

как жадно поет кузничек
последний товарищ птичий
и гнет рядовые плечи
ярмо боевых различий

погоны чужого царства
окопы чужого войска
лесное лежит гусарство
меня обучив по-свойски

бушлаты казенной шерсти
уже выросли по брови
здесь все мы так близки к смерти
от крови от сладкой крови

здесь жаба в пустом колодце
глота звезду на блюдце
чумазого ждет уродца
я должен сюда вернуться

МОСКВА

1

Дождь на Пушкинской, дождь.
Доворачивай краны —
Нас за так не возьмешь,
Мы с оттяжкой драны.

Город в первом хмелю.
Тем-то мы и богаты,
Я за то и люблю
Все, чем жили когда-то.

Мы за то и тоску
Любим каждую жилкой,
Что легко седоку
Рубануть по затылку . . .

2

Вагон подходит к станции,
Вворачивая сверла.
И инструментик шанцевый
Подкатывает к горлу.

И губит, как безхозную
Осиновую чашу
Меня тоской колхозною
И горечью щемящей.

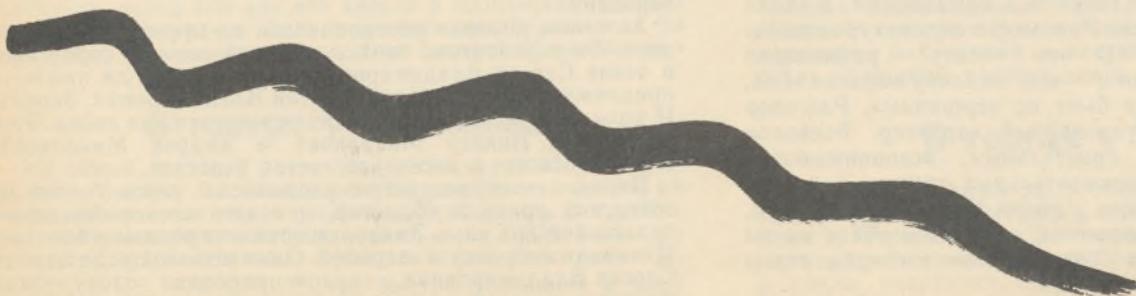
Платформы вслед таращатся,
И гостьею непрошеной
Москва-подлюка тащится
Зеленой скоморошиной.

* * *

Что Москва? И кто в ней сегодня княжит?
Белый попка с розовым хохолком —
Выпал, выпал — и даже не стоптан даже,
И морозец. Город под молотком

Как орешек. Жалко, что я нездешний.
Я нездешний — так, из других широт.
Вот и лезет веточкою в скворечник
Ветер-вишня кисточкой прямо в рот.

Я оттуда, где вторят еще телеги
Лебедям и криканию колымаг.
Здесь теплее, чем в Киеве при Олеге,
И пока что лучше, чем Колыма.



МЯСНИЦКИЕ ВОРОТА

Что за чудо, что за диво —
Ново-Кировский проспект.
Словно ленточка курсива,
оживившая офсет.

В записной московской книжке
меж затрепанных листов
ты страница без одышки,
без знамений и постов.

Твой Садовый и Колхозный
расписной подземный рай
всей Москвы моей тифозной
караван-тире-сарай.

Всей коленопреклоненной,
без повинной головы,
под уклон горы бетонной
покатившейся Москвы.

И подлогом озадачен,
с подселением не в ладах,
с черной тумбы барин плачет,
как от пули без суда.

Ум отцов и совесть дедов
на бульваре у прудов
застывает Грибоедов
в перекрестье проводов.

Здесь ему ладонью плоской
отдана в наказ земля
не для сволочи московской,
не для красного кремля.

В РИГЕ

Почернели скамейки. Сидеть никому неохота.
Вот униженный город, хозяевам крепкий чужим.
Он пробит в поясице стрелою, каляной от пота
(но еще разогнется) и крови. А мы побежим.

Потому что судьба наша, брат, не любовь и работа,
не беглец, не скиталец и даже не мать твою так.
Мы с тобою трава, и по нам отступает пехота,
а когда наступает, мы молча ложимся под танк.

Я пройду этим парком, душистым, как первая зелень,
где туман под ногой, только запахи — ночь и февраль.
Только запахи: ночь, и покрасить еще не успели
в нашу лучшую краску собора ужасную сталь.

* * *

брось монету
в медный подойник ночи
или закрой глаза
так тебе будет не страшно
смотри же: завтра твоя рубашка
срастется с соленой кожей
чтобы быть еще ближе к телу
и тувелька, стягивающая щиколотку петлей
схватит тебя за горло
я же, пока границы
не трут мне под мышками
говорю маленькой птичке
девочке из гнезда под черепичной крышей
пой, Латвия, пой

ОСЕНЬ

Что у нас есть? Лишь то, о чем мы не знаем.
Маленький царский сын, пасынок рыбакова.
Кожаный желтый мяч — спутник хрущевских домов.
Есть дворы. Золотом мы богаты.
Есть и утро. Здравствуй, бритва «Нева»!

* * *

зольдатски стиль, Георг
вся Россия живет зольдатски походни стиль

* * *

Унеси меня, ветер, в июнь голубых стрекоз.
Унеси меня, ветер, в август белых грибов.
Это так легко — я почти что не слышал гроз.
Это так легко — я почти не видал гробов.

Из дубовых звеньев сложен наш серый лес.
Самый сладкий запах шел из запретных зон.
И едва опенок стал золотым на срез,
как упрямый кровельщик свой открывал сезон.

Там в неделю дважды счастливы были все,
и горел сентябрь, отдавая долги зиме.
Из великих трактов я знал лишь одно шоссе,
и еще ни одна дорога не шла к тюрьме.

А сегодня мне доверена смазка дул.
И курносый парень в куртке сыграл поход.
И хотя недавно ласковый с моря дул,
но я сразу понял, что это не наш приход.

* * *

Я устал от избытка неправильной речи
Я боюсь как пощечины окрика злого
Я устал от прозрачных балтийских наречий
Перепаханных глиной славянского слова

Я хочу постоять на земле воскресенья
На которой когда-то зачем-то родился
Капюшон палача и три дня вознесенья
И трава на которой задушенный бился

Я готов распластаться на мокром асфальте
И сдирая с костей свои слабые мышцы
Запустить свои корни как жадные пальцы
В эту скользкую грязь из которой я вышел

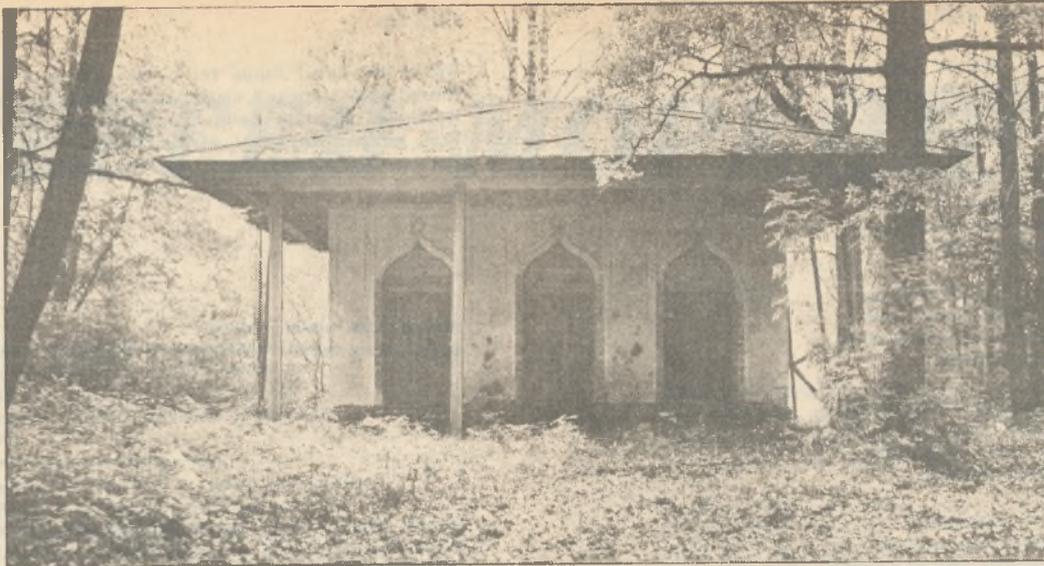
Я еще разрастусь в московских кварталах
Ах как я ненавижу их барскую стужу
Не топчите меня мне ведь надо так мало
Закопаем их всех и по ним же отслужим

* * *

все чаще хочется отстреляться
с мелким клекотом, часто-часто

так, неожиданно, из-за угла
переваливаясь через бруствер
цепко схватывая землю гусеницей
приласкать на длину ствола
сочно, густо

знаем мы эти ласки...



Чайный павильон элейского парка, в котором с 1863 по 1933 год находился памятник герцогине Доротеи. Фото А. Инохима, 1985.

ДАЙНИС БРУГИС

ПАМЯТНИК ДОРОТЕЕ

В художественном наследии XIX столетия в Латвии, пожалуй, не найдется ни одного другого скульптурного произведения, которое бы весь свой век находилось в центре столь пристального внимания общественности и искусствоведов как памятник последней курляндской герцогине Доротеи. Хотя иногда и кажется, что памятник унаследовал значительную долю мещански взбудораженного интереса, постоянно сопровождавшего яркую личность самой Доротеи, все же можно утверждать, что его популярности способствовали и монументальность, и несомненные художественные достоинства. Начиная со второй половины прошлого века, о памятнике писали такие известные исследователи нашей культуры, как Деринг, Нейман, Клемен, Кампе, Силиньш и др., поэтому уже сама попытка присоединиться к этой блестящей когорте авторов грозит перспективой прослыть наглым компилятором. И все же, исходя из соображений, что широкому кругу современных читателей эти публикации мало доступны, казалось целесообразным взяться за незавидную роль толмача и пересказчика, при этом не теряя надежды хотя бы немного уточнить и дополнить факты, упомянутые авторитетными предшественниками.

Последняя курляндская герцогиня Анна Шарлотта Доротея¹ скончалась 20 августа 1821 года вдали от родины — в замке Лебихау недалеко от Альтенбурга. Весть о ее смерти быстро облетела Курземе и вызвала общественный резонанс. Хотя еще были живы воспоминания о борьбе герцога Петра против оппозиции местного дворянства, все же это не мешало оплакивать в ее лице символ прошлой, независимой Курляндии. Смерть Доротеи словно персонифицировала уход целой эпохи, или, говоря словами О. Клемена: «... с ее смертью завершилась история Курляндии, которая отныне растворилась и исчезла в огромной царской империи»².

В ландтаге 1823 года Курляндское рыцарство, отмечая выдающиеся достоинства покойной, постановило увековечить ее память и соорудить в центральном храме герцогства — Митавской (Елгавской) церкви Св. Троицы богатый памятник³. Изготовление памятника доверили молодому остзейскому скульптору Шмиту фон дер Лауницу, совершенствовавшемуся в то время в мастерской знаменитого Берта Торвальдсена в Риме. Лауницу, ставшему позже прославленным автором многих памятников (наиболее известный — в ознаменование 400-летия книгопечатания во Франкфурте-на-Майне), в то время было только двадцать пять лет, и он делал свои первые шаги в искусстве. Конечно, выбор курляндского дворянства мог быть продиктован отнюдь не слабыми местопатриотическими чувствами, однако, чтобы полностью понять, почему именно он получил столь ответственный заказ, следует сделать небольшое отступление.

Летом 1822 года Лауниц приехал на родину, чтобы установить в Гробиньской церкви бронзовый барельеф погибшему в лейпциг-

ской битве брату Георгу и отправить в Петербург заказанную княгиней Голицыной мраморную фигуру Меркурия. Скульптура имела неожиданный успех, а ваятель, о котором теперь говорили во всех столичных салонах, был представлен самому Александру I. И тут произошло непредвиденное — царь лично поручил Лауницу изготовить памятники фельдмаршалу Кутузову и Барклаю де Толли на площади перед Казанским собором. По сей день ломаются копыя по этому поводу. Как могло случиться, что грандиозный заказ на памятник героям Отечественной войны получил не кто-нибудь из профессоров Петербургской Академии художеств, а неизвестный начинающий остзейский скульптор? Одни объясняют это протекцией всемогущих остзейских придворных кругов, другие — что более объективно — застоем в русском академическом изобразительном искусстве. Как бы там ни было, ясно, что заказ Двора значительно повысил акции молодого художника и, возможно, самым прямым образом повлиял на выбор курляндского дворянства. Письмо с предложением изготовить памятник Доротеи застало Лауница в Риме за работой над эскизами памятников русским полководцам. В письме было указано, что памятник должен быть «не таким, как памятник Рауха прусской королеве Луизе, и не таким, как памятник графу Марку, созданный Шадовым. Он должен быть с саркофагом, драпировками и эмблемами, рельефы должны отображать наблюдаемые на родине сцены»⁴.

Оба упомянутых памятника считались идеалом мемориальной скульптуры своего времени, и под их влиянием находились чуть ли не все европейские скульпторы, поэтому требование не подражать им должно было бы поставить Лауница в затруднительное положение. Однако, это была только видимость. Перечисленные в письме атрибуты недвусмысленно указывали, что заказчики отнюдь не желают отступать от классических образов в духе античного аллегоризма. Скорее всего, они просто боялись возможной интимности памятника и слишком прямого копирования образов, что могло бы нанести ущерб задуманной парадности и исключительности.

В ответном письме Лауниц поблагодарил за оказанную честь и сообщил, что для начала работы полученных им указаний недостаточно. Уже 20 мая 1824 года он прислал эскиз. Свой замысел скульптор соотнес с определенным местом в церкви Св. Троицы — узкой полоской стены между двумя окнами. Основание он задумал в виде архитектурного сооружения с ажурными металлическими коваными дверями, каплица смогла бы выполнить роль символической секулярной часовенки. На архитраве основания предусматривалось место для надписей, а также для гербов Курляндского герцогства и рода Медемов. Пьедестал помещенной выше скульптуры предполагалось украсить аллегорическими рельефами с изображением добродетелей прави-



Памятник герцогине Доротее в Чайном павильоне элейского парка, 1928 г. фото.

тельницы, а всю композицию памятника должна была завершить фигура погруженной в глубокий покой герцогини, опирающейся на украшенную рельефами муз и граций колонну. По замыслу Лауница, Доротею следовало изображать как покровительницу искусства и науки, заодно подчеркивая ее женскую элегантность и привлекательность. Одежда герцогини должна была соответствовать вкусам своего времени, но, тем не менее, «с привкусом античности», а диадема в волосах сдержанно указывала на ее положение правительницы.

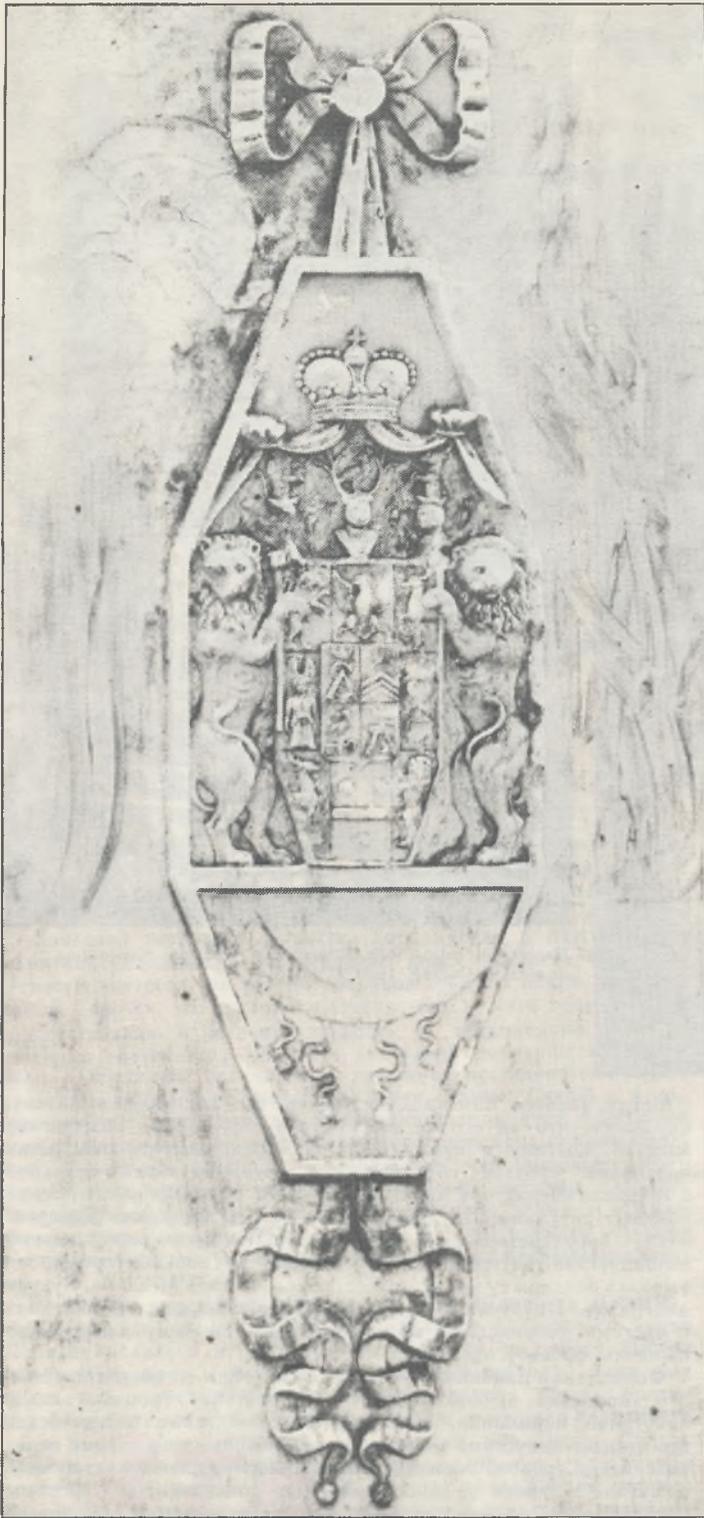
Проект, как видно из описания, предполагал создание памятника в духе традиционного классицизма, и как таковой снискал одобрение Курляндского дворянства. В нем было сделано только два изменения — следовало убрать предусмотренное для саркофага помещение, и в знак политической лояльности выбить на основании также герб Российской империи. На реализацию проекта были выделены запрошенные 6000 рублей, и скульптор мог приступать к работе.

К сожалению, работа одновременно над двумя огромными заказами для неопытного Лауница оказалась слишком трудной. Хотя в книге «Baltische Maler und Bildhauer des Jahrhunderts» В. Нейман пишет, что статуи обоих русских фельдмаршалов уже в 1826 году были установлены перед Казанским собором⁶, и эту версию вслед за ним пересказывают и другие авторы, начиная от О. Клемена и до наших дней. На самом же деле, скульптуры не были окончены еще и в 1827 году, а Николай I, которого не удовлетворял их наивно аллегорический, неконкретный характер, в весьма резкой форме отказался от услуг скульптора⁷. Известно, что только в 1837 году около Казанского собора были установлены всем знакомые скульптуры другого ученика Торвальдсена Б. Орловского.

Памятник же Доротее в 1827 году был окончен, и, по меткому выражению О. Клемена, «началась история его страданий». Упакованные в 11 ящиков детали памятника были доставлены морским путем из Ливорно в Гельсингфорс, а оттуда в Ригу, где долго простояли в ожидании разрешения на беспопытный провоз в Митаву.

Когда, наконец, памятник по Лиелупе был доставлен в Митаву, оказалось, что на его установку требуется особое разрешение властей, поэтому в июле 1829 года представитель рыцарства полковник Гротхус обратился с соответствующей просьбой к генерал-губернатору маркизу Паулуччи⁸. Оценив политический подтекст ситуации, Паулуччи прошение переадресовал Департаменту государственного хозяйства и общественных зданий министерства внутренних дел, правда, со своей стороны, он выразил поддержку и просил учесть заслуги рода Медемов. Будучи либералом, Паулуччи был заинтересован в хороших отношениях с местным дворянством, но в Петербурге, как того и следовало ожидать, просьбу отклонили.

Формальной причиной отказа было названо то обстоятельство, что герцогиня не похоронена в церкви Св. Троицы, заодно заботливо напомнили, что строительство таких политических памятников допустимо только для лиц с особыми заслугами перед российским тронem. Всемиловейше было разрешено установить памятник в одном из многочисленных поместий рода Медемов в Курляндии. Решение было окончательным и 1 октября 1829 года подписано Николаем I. Причиной отказа стали, очевидно, политические мотивы — установка памятника герцогине в бывшей столице герцогства лишней раз напоминала бы о временах независимости Курляндии и могла вызвать нежелательные для трона настроения. Так и нераспакованный памятник еще долго простоял в каком-то елгавском сарае, может быть, в надежде на пересмотр решения, но поскольку этого не произошло, то установили его там же, в городе, в специально построенной часовне в саду дачи Медемов (Villa Medem)⁹. Даже в таком компромиссном варианте Курляндское дворянство продемонстрировало свое неподчинение диктату Петербурга. Возможно, что именно установка побудила графа Медема открыть сад для публичных прогулок горожан — формально памятник числился на земле Медемов, а фактически — выполнял свои функции общественного монумента. В выходившей в Митаве газете «Inland»¹⁰ в 1837 году впервые опубликовано описание памятника, а также полностью приведены надписи на его основании.



Фрагмент пьедестала памятника с гербами Курляндского герцогства и рода Медемов.



Памятник герцогине Доротее в вестибюле государственного Музея изобразительных искусств на третьем этаже Рижского замка.

С годами даже из памяти старейших жителей города выветрился живой образ герцогини, а в глазах молодых, не переживших времена герцогства поколений некогда почти сакральный памятник постепенно превратился в обыкновенную, хотя и забавную садовую скульптуру. Открытый павильон, предохранявший скульптуру от снега и дождя, не был преградой для бешеных студенческих оргий и камней уличных мальчишек, что и нанесло скульптуре первые ощутимые повреждения. Чтобы оградить памятник от надругательства и дальнейшего повреждения, племянники Доротеи Петерис и Теодорс в сентябре 1863 года велели снести часовню и перевезти скульптуру в парк Элейского дворца¹¹. Предполагалось поместить памятник в один из парковых павильонов, но тот оказался мал. Проблема была решена сооружением на северной стороне павильона пристройки с углубленным полом и более высоким перекрытием. Утратив статус общественного монумента, памятник предстал частью романтического Элейского парка, теперь лишь гостям замка напоминающая славы страницы истории рода Медемов. В глубине павильона он нашел покой и безопасность больше чем на полстолетия.

В июле и августе 1915 года Элею опалило разрушающее дыхание первой мировой войны, в развалины превратился горделивый дворец, жестоко были разрушены памятники в парке. Поздней осенью 1916 года профессор Клемен, посетив Элею, столкнулся со следами варварских разрушений. Профессор писал: «С грустью гуляю по осеннему парку и нахожу маленькие памятники, любовно заложённые мужем и детьми в конце XVIII и начале XIX века. Урны разрушены, обелиски опрокинуты, памятные доски перевернуты и разбиты. Одному богу известно, кто искал здесь запрятанные драгоценности. Так я, наконец, добираться до маленького деревянного павильона. Там теперь оборудован склад зерна. Но какая радость! В глубине тщательно отгороженный дощатой стеной стоит памятник — ужасно грязный и отвратительно замызганный, но целый, если не считать пальцев правой руки, но они пусть будут на совести уличных мальчишек прошлого столетия»¹².

К сожалению, радость профессора оказалась преждевременной. Уже в 1919 году в Элее хозяйничали бермонтовцы, в вандализме намного превосшедшие прежних разрушителей. Для них мраморный памятник стал отличной мишенью для упражнений в стрельбе, в результате чего он был сильно поврежден. Больше всего пострадала сама статуя, на этот раз утерянной оказалась и голова.

В послевоенные годы памятником интересовались только ребятишки, со сладостным замиранием сердца рыскавшие в тенистом уголке парка вокруг призрачной, безголовой фигуры.

Только в 1927 году, когда в Элею прибыли сотрудники Управления памятниками, чтобы обследовать развалины замка, был взят на учет и памятник Доротея¹³. При следующем обследовании памятника в 1931 году было установлено, что у него недавно выломан украшенный рельефами фрагмент архиврава. Это ускорило принятие решения о перемещении памятника. В феврале 1933 года под руководством архитектора П. Аренда памятник разобрали и автомашинной увезли в Ригу. Только летом следующего года, вместе с ящиками мелких деталей декоративной отделки Элейского дворца были увезены в Ригу и пять блоков основания памятника, которые не удалось увезти в предыдущий раз, потому что они вмерзли в землю.

После активности, проявленной Управлением памятниками зашевелились и местные жители — в надежде на денежное вознаграждение из паркового пруда была вытащена уже покрытая илстой слизью голова скульптуры¹⁴, а хозяин хутора «Димяуги» честно принес ее отбитый нос.

Но так и не удалось найти выломанный из основания рельеф с аллегориями добродетелей.

Реставрация памятника, которую осуществил скульптор М. Полдука, ограничилась соединением некоторых отдельных деталей и доделкой из гипса недостающих, после чего памятник, не полностью собранный, экспонировался в вестибюле тогдашнего Государственного художественного музея на третьем этаже Рижского замка.

Перевозка памятника в Ригу вызвала неожиданно острую полемику. Против нее протестовали не только органы самоуправления и общество Елагвы¹⁵, но и рижская немецкая пресса того времени¹⁶ выступила за передачу памятника в собственность Музея Курляндской провинции и установку его на первоначальном месте в саду «Villa Medem», считая, что памятник не может оставаться в Риге, которая исторически никогда не была связана с Курляндским герцогством. В бесплодном споре, в который втягивались все более высокие инстанции, и в котором опять то и дело вспыхивало что-то от локального патриотизма времен герцогства, все же победили разумные аргументы Управления памятниками, подтвердившего, что «из-за материала, использованного при реставрации и из соображений безопасности, не

следует устанавливать памятник под открытым небом». Музею Курляндской провинции был отправлен только гипсовый слепок головы Доротеи.

Не один раз можно было прочесть догадки, что памятник Доротея все еще хранится не то в фондах Музея истории Латвии ССР, в одном из чердачных помещений Рижского замка, не то в Музее истории города Риги и мореходства¹⁸. К сожалению, эти романтические версии не соответствуют действительности. На самом деле судьба памятника значительно грустнее. Во время немецкой оккупации в его жизни начался последний трагический акт. После почти векового перерыва он опять стал средством демонстрации политических амбиций. По указанию комиссара Земгальского края барона фон Медема¹⁹, в конце июля 1942 года памятник Доротея перевезли в Елгаву — древнюю столицу Курляндии. В сентябре 1944 года жертвой пламени стала практически вся историческая застройка древней столицы Курляндии — погибли бесценные сокровища искусства, среди них — памятник Доротея.

Такова драматичная судьба памятника, который мог бы заслуженно занять видное место среди скульптурных произведений эпохи европейского классицизма. Все же хочется закончить эту грустную историю оптимистичным предположением. Летом 1985 года, в время одной из экскурсий в Рундальском дворце какая-то молодая женщина рассказала сотруднице музея, что знает дом, в стену которого вмурован мраморный рельеф из Элейского дворца. Только позже, взвесив все известное о скульптуре Элейского дворца, последняя догадалась, что описание рельефа соответствует фрагменту памятника Доротея, который не удалось найти сотрудникам Управления памятниками в 1933 году. Женщина не пришла, как обещала, показать дом, а поиски сотрудников музея в окрестностях Элеи хотя и принесли несколько неожиданных находок, все же в данном отношении были безрезультатны. Остается надеяться, что написанное здесь побудит отозваться людей, знающих место нахождения последних остатков памятника герцогине Доротея.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Анна Шарлотта Доротея — дочь графа Иоганна Фридриха Медема, родился в 1761 году в Межотне, в 1779 году вышла замуж за последнего герцога Курляндии Петра Бирона.
2. O. Klemen, «Das Denkmal der Herzogin Dorothea von Kurland» — в кн.: «Kurland in der Vergangenheit und Gegenwart» Bd. 2 — «Aus dem eroberten Kurland», Berlin, 1917, S. 46.
3. Однако Г. Мелдерис в своем исследовании «История Элейского края» (машинописный вариант в отделе рукописей и редких книг Государственной библиотеки им. В. Лациса) довольно скептически отмечал, что заказ памятника свидетельствует не столько об уважении и любви дворянства, сколько о холодном расчете; гостив в 1806 году при Петербургском дворе, Доротея выпросила для курляндского дворянства имения Гренчу и Ирлава, доходы от которых только за один год значительно превышали стоимость памятника.
4. Письмо, фрагмент которого цитировал О. Клемен, а также нарисованный Лаунишем эскиз памятника еще в 1916 году хранились в библиотеке Музея Курляндской провинции в Елгаве. Их дальнейшая судьба неизвестна.
5. Доротея погребена в родовой каплице в парке Саганского Замка.
6. W. Neumann, «Baltische Maler und Bildhauer des Jahrhunderts», Riga, 1902, S. 36.
7. «Статуи фельдмаршалов князя Кутузова-Смоленского и князя Барклая де Толли», «Славянин», 1827, № — XVI, Отделение 2-е, с. 96, 97.
8. Вся переписка по установке памятника Доротея хранится в Центральном государственном историческом архиве в Москве (ЦИА СССР, ф. 1285, оп. 8, д. 3115).
9. По сведениям Деринга, памятник установлен в период между 1830 и 1834 гг. (С.: «Sitzungs-Berichte der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst aus den Jahren 1864 bis 1871», Mitau, 1884, S. 419.)
10. «Inland», 1837, Nr. 46, S. 761.
11. Интересно, что эта перевозка официально согласована с комитетом Курляндского рыцарства. (LCVVA, f. 6999, arg. 17, l. 450, lp. 1.)
12. O. Klemen. Op. cit. S. 50—51.
13. Материалы Управления памятниками о памятнике Доротея в архиве отдела истории Музей истории Латвийской ССР.
14. За голову памятника Доротея заведующий Элейской начальной школы Тетерис запросил 20 латов на покупку тетрадей нуждающимся учащимся.
15. Официальное письмо протеста елгавского городского Головы в архиве Министерства культуры Латв. ССР в «деле Элейского имения».
16. Заметки в газете «Ригасхе Рундсхау» 1933 года, №№ 52, 60.
17. Например, в упомянутом исследовании Т. Мелдериса.
18. Günter Elbin, «Macht in zarten Händen», Dorothea Herzogin von Kurland Ehrenvirth, München, 1968, S. 215.
19. Барон Медем непосредственно не связан с родом Медемов, как это считали многие современники.

Теперь
он
у
Бога
за
пазухой —
сидит
и
улыбается,
как
бриллиантовая
жаба.
Он —
это
дикая
звезда
в
вечности.
Дали
умер.
Какая
красивая
ложь.
Мы
договорились,
что
он
нарисует
обложку
для
этого
номера.
Почему
бы
и
нет!
Он
не
лукавил,
и
перед
смертью
отправил
телеграмму
Энди
Уорхолу:
«Рисуй
ты.
Отправляю
в
путешествие».
Но
почта
оттуда
идет
очень
медленно.



Н. Н.



КРИСТИНА ДУЦМАНЕ

ОТ «КЕРЕНОК» И ОСТМАРОК ДО ЛАТОВ



Серебряная монета достоинством в 5 латов в аверсе.

Мы уже немало читали и слышали о том, что ни одна страна в Европе не пострадала так сильно во время первой мировой войны, как Латвия и ее народ. И хотя трудно ради сравнения определить меру страданий и оценить ущерб, нанесенный нашему отечеству противоборством великих держав, временем смятения и беженцев, но не согласиться с таким утверждением, наверное, невозможно. Ноябрьская революция в Германии изменила политическую ситуацию, началось создание Латвийского государства — и в гражданской и в пролетарской его ипостаси. В то время не было почти ничего из основной атрибутики государственности. В том числе и своей денежной системы, а без нее немисливо нормально функционирующее хозяйство. В этой связи имеем полное основание назвать еще один своеобразный латвийский феномен — наряду с аграрным, он упоминается довольно часто и в выступлениях, и в статьях, — быстрое образование и внедрение единой денежной системы в весьма сложных условиях экономики. Латвия была единственным молодым государством, которое без помощи извне самостоятельно утвердило свою валюту, создав систему лата.

В канун образования независимого государства — во время немецкой оккупации в 1918 году — в Латвии расплачивались немецкими купюрами — германскими бумажными марками, а также казначейскими знаками Остбанка (выпущены в Каунасе 4.01.1918) и острублями (выпущены в Познани 17.01.1919). Все же в Видземе и Латгалии немецкие деньги не прижились. Там по-прежнему в ходу были царские кредитные билеты — рубли.

18 ноября 1918 года, когда Народный совет провозгласил Латвийское государство, денежный вопрос даже не затрагивался. В употреблении оставались все те же царские кредитные билеты, деньги, учрежденные Думой, и керенки — каждая обладала своей платежеспособностью. Номинальная стоимость рубля постоянно падала. В то время в обороте были и острубля, остмарки, германские марки и кредитные билеты городов Лиепай, Вентспилса и Елгавы, которые выпускались с 1915 года для оплаты немецкой контрибуции, а позже для покрытия очередных расходов.

11 декабря 1918 года министр финансов К. Пуриньш

издал приказ о пятипроцентном займе независимости и объявил, что утверждает «царские», «остбанковские» и деньги, учрежденные Думой, по следующему курсу: 1 «царский» рубль = 80 коп., остденег = 1 руб. 25 коп. в деньгах, учрежденных Думой. Фактически средством оплаты были и немецкие, и русские бумажные деньги.

Советское правительство П. Стучки оставило в обороте прежние денежные знаки, лишь объявив их номинальную стоимость. В то время основным средством денежного обращения были «керенки» в разрезных купюрах по 20 и 40 рублей в каждом. Правда, крестьяне и купцы избегали их, предпочитая более надежные по их мнению «царские» деньги — так называемые «петры» и «екатериненки». Денежных знаков не хватало в нужном количестве, — народ «царские» деньги придерживал, их «прятали в чулок», поэтому рижский Союз рабочих депутатов 8 апреля 1919 года начал выпуск обменных купюр стоимостью 1, 3, 5 и 10 рублей. Они были равноценны «керенкам». К слову, эти обменные знаки рисовали известные художники — Лудолфс Либертс, Ансис Цирулис, Конрадс Убанс и Буркардс Дзенис.

В это же время гражданское временное правительство Латвии дает разрешение на выпуск кредитных билетов городов Лиепай и Елгавы с правом пользования ими в близлежащих окрестностях.

Финансовый вопрос государства, с которым столкнулся Кабинет министров Улманиса, был одним из самых сложных. Не хватало средств на содержание армии и госучреждений. Как известно, всякое правительство может покрыть свои расходы посредством дополнительно выпуска бумажных денег, так называемой эмиссии. По этому пути пошло и Временное правительство Латвийской Республики: 29 января 1919 года в Лиепаве Кабинет министров постановил выпустить знаки Госбанка, которые обеспечивались бы всем имуществом и доходами государства и стали бы временной заменой денег. Были выпущены знаки Госбанка достоинством 1, 3, 5, 10, 50 копеек; 1, 3, 5, 10, 25, 100, 500, а позже и 50 и 250 рублей. Изготовление знаков Госбанка доверили типографии Мейера в Лиепаве. Наряду с этими первыми латвийскими деньгами в обороте оставались также немецкие и русские купюры, к тому же последним народ доверял больше.

На севере Латвии, который в первой половине 1919 года находился под влиянием эстонского правительства, некоторое время в ходу были еще и эстонские марки.

Молодое государство и его граждане постоянно теряли немалые суммы из-за разницы денежных курсов, поэтому нужно было в самый короткий срок перейти на валюту Латвии. Но по неизвестным причинам власти медлили с объявлением латвийских денег единственным законным средством оплаты в Латвии — и по ранее заключенным договорам, и погашая задолженности. В то время Народный совет разрешил городу Риге выпустить так называемые долговые знаки достоинством 1 и 3 рубля как законное средство оплаты в Риге и ее округе.

В 1920 году государственный бюджет запланировал большие расходы на восстановление хозяйственной жизни, особенно на нужды Оборонного и Земледельческого министерств. В такой ситуации комиссия Народного совета по финансам признала, что другого выхода нет — нужно снова возобновить выпуск государственных казначейских знаков. Оговаривалось, что эти деньги должны пойти исключительно на закупку лесоматериалов, торфа и льна.

Проект закона о государственных казначейских знаках, как о единственном законном средстве оплаты, был готов уже к августу 1919 года, но министр финансов не дал ему хода. Только благодаря жесткому требованию президента Кабинета министров этот закон был утвержден Народным Советом 18 марта 1920 года. И все же в народе в большой чести были царские кредитные билеты. Поэтому ровно через год 18 марта 1921 года Учредительное собрание приняло еще один закон, за-



Металлические деньги — латы 1, 2; сантимы 1, 2, 5, 20, 50.

прещающий обмен и использование в купле-продаже бумажных денег бывших правительств России, Латвийский рубль был еще раз официально объявлен единственным средством оплаты. Но увы, латвийский рубль так и не оправдал возложенных на него надежд.

Общепризнанные правила, соблюдение которых обеспечивает нормальный оборот бумажных денег, следующие: 1) бумажные деньги сами по себе не являются деньгами, а заменителем настоящих денег, так как бумажные деньги не обладают собственной стоимостью. Они также не являются суррогатом денег, коим считаются металлические деньги, которые тоже не заключают в себе стоимость, на них обозначенную; 2) чтобы бумажные деньги могли циркулировать, государство должно объявить их обязательным средством оплаты; 3) для нормального оборота бумажных денег необходимы гарантии их свободного обмена на полноценные деньги — на золото. Латвийский же рубль, хотя и обеспечивался всем достоянием государства, свободному обмену не подлежал, и поэтому курс его неизбежно менялся.

Колебания курса рубля вызвали в молодом государстве тяжкую и разрушительную инфляцию, и как следствие постоянное нарастание дороговизны жизни. Это хорошо видно по росту цен на Рижском рынке:

	1919 г. авг.	1920 г. январь	1920 г. декабрь	1921 г. ноябрь	1922 г.
Фунт масла	6,00	12,00	21,00	79,75	50,00
Фунт сала	6,00	12,00	15,00	42,25	33,75
Ржаной хлеб	0,70	1,20	2,20	8,62	5,07
Белый хлеб	2,40	3,50	6,20	17,12	12,25
Картофель	0,25	0,45	0,60	2,01	1,34

Для дальнейшего развития государства, для укрепления его экономики, роста уровня благосостояния его жителей нужна была стабильная валюта. Поэтому основной задачей становится задача уравновесить госбюджет, в нем ежегодно обнаруживался дефицит. Покрывали его выпуском бумажных денег. Правительство повышало налоги, устанавливало новые таможенные тарифы, и благодаря этому, доходы бюджета возросли. Кроме того, хороший урожай 1921 года и сокращение импорта остановили падение стоимости



Фото ЛЕОНСА БАЛОДИСА.

Латы — банковские знаки и государственные казначейские знаки Латвийской Республики.

ли изготавливать в Риге, в типографии Государственных знаков и на монетном дворе по рисункам Лудолфа Либертса и Артура Апиниса.

Министерство финансов установило для латов и сантимов сокращение Ls. Например, 2 лата и 15 сантимов = Ls 2,15; 8 сантимов = Ls 0,08. «L» — означает первую букву денежной единицы — лата, а «s» — первую букву части денежной единицы — сантима. Следовательно, неправильно было бы сокращать сантимы как «snt», так как сокращение «Ls» обозначает и латы, и сантимы.

Одновременно со стабилизацией денег возникали учреждения, которые напрямую занимались вопросами денежного обращения. Уже 1 апреля 1919 года в Лиепая была открыта Государственная сберкасса, которая выдавала также кредиты кооператорам.

Существовали разные проекты о создании эмиссионного банка в сотрудничестве с английским банком, например, проект о создании «объединенного» эмиссионного банка Балтийских государств. Правда, все они были отвергнуты как нереализуемые по разным причинам. Все предложения выражали одну мысль — денежная реформа осуществления не иначе, как с помощью эмиссионного банка. Это мнение оказалось ошибочным

и не продвинуло решения сложных финансовых проблем.

С созданием эмиссионного банка не клеилось, и правительство решило расширить функции все той же Государственной сберкассы, утвердив ее в праве закупать золото и платину в монетах, слитках и в других видах. К тому же министр финансов был уполномочен издать более детализированные правила об операциях сберкассы, устанавливая процентную ставку за кредиты и курс исчисления золотого франка. 18 августа 1921 года Государственную сберкассу переименовали в Государственный сберегательный и кредитный банк. Предложение превратить банк в эмиссионное учреждение было отклонено.

Как выше уже упомянуто, с ноября 1921 года у латвийского рубля был стабильный курс, и это позволило перейти на систему золотого франка или лата. И 19 сентября 1922 года Кабинет министров принял устав государственного эмиссионного банка, назвав его Латвийским банком. Первая статья устава гласила, что Латвийский банк это государственное учреждение и за его операции и обеспечение отвечает государство. Государственный сберегательный и кредитный банк ликвиди-

рвали 26 октября 1922 года. 1 ноября Латвийский банк начал свою деятельность, установив, что в платежах государству латвийские рубли принимаются по курсу 50 руб. = 1 лат. 24 апреля 1923 года на заседании Сейма был принят дополнительный и исправленный устав Латвийского банка. С докладом выступил член банковского совета Весманис, пояснив, что «перед каждым государством, начинающим создание хозяйственной жизни, стоят два вопроса — валюта и кредиты. Чтобы решить эти вопросы, в первую очередь необходимо, чтобы у государства была своя **национальная валюта** (подчеркнуто мною — К. Д.). С помощью чужой валюты этих вопросов не решить. Перед нами пример Литвы, пытавшейся обойтись чужой валютой. (С 1918 по 1922 г. эмиссионным банком Литвы служила Восточная кредитная касса Германии. Она была подвержена послевоенной инфляции немецкой марки и катастрофическим образом повлияла на экономику Литвы. С 9 августа 1922 года 10 литов = 1 доллар США, пояснение мое — К. Д.). Мы видели, к каким печальным последствиям это привело. Вне зависимости от развития своей собственной хозяйственной жизни, которая была на подъеме, Литва оказалась в невыгодном хозяйственном положении из-за того, что курс чужой валюты, принятой за валюту литовского государства, стал падать... Основной аргумент против ввода чужой валюты таков, что государство не сможет влиять на курс чужой валюты...». Латвийский банк был центральным банком нового типа — автономным государственным учреждением, стремящимся объединить в себе все лучшее, что свойственно частному и государственному банку. Его задачей было решить вопросы денежного обращения и эмиссии и кредитные отношения в государстве.

Со 2 апреля 1920 года по 1 ноября 1922 года единственным законным средством оплаты в Латвии были государственные казначейские знаки — рубли. Кроме того, средством оплаты служили денежные знаки некоторых других государств. Новый банковский устав предполагал, что рубли и впредь останутся в обороте — как бумажные знаки мелких денег, перепечатанные в латы. В начале свой деятельности банк отпечатал поверх 500-рублевых казначейских билетов 10-латовый номинал по рисунку профессора Р. Зариньша. Одно за другим были отданы распоряжения об изъятии из обращения казначейских знаков в копейках и рублях: 5, 10, 25 и 50-копеечные знаки предлагалось изъять из обращения до 1 марта 1925 года; 1, 5, 10 и 25-рублевые знаки до 1 апреля 1925 года, а 100-рублевые — до 1 августа. В обращении оставались еще знаки достоинством в 500 рублей — до 1 апреля 1930 года. По закону о государственных казначейских знаках следовало, что взамен изъятых из обращения рублей должны быть выпущены новые государственные казначейские знаки, — по номиналу 1, 2, 5, 10 и 20 латов — и что за них ручается государство всем своим имуществом.

Наравне с латвийскими рублями в ходу были также долговые знаки, казначейские знаки и бонны городов Лиепая и Елгавы, выпускаемые с 1915 года. Их было выпущено на общую стоимость 12 миллионов рублей. Основной целью выпуска этих денег было предотвращение нехватки мелкой разменной монеты, и поэтому выпускали не только рубли, но и марки, копейки и пфенинги. До денежной реформы городские денежные знаки служили мелкой разменной монетой наряду с деньгами, утвержденными правительством. Но как только в обороте появились металлические сантимы и латы, желательно было добиться единства в денежной системе. Поэтому Сейм утвердил закон о денежных знаках городов, постановив, что до 1 января 1925 года они должны быть изъятые из обращения и уничтожены.

Правовая основа денежной системы Латвийской Республики заключалась в следующих трех законах: 1) Денежных правилах и их дополнении; 2) Закон о государственных казначейских знаках; 3) Устав банка Латвии. Денежные правила предлагали чеканку монет досто-

инством в 10 и 20 латов из золота 900 пробы, но этот замысел остался нереализованным, и золотой лат существовал только как счетная единица.

Денежная система Латвии состояла из 1) латвийских банковских знаков (банкнот), их можно было свободно обменять на золотые слитки, печатались они в Англии; 2) в Риге были отпечатаны государственные казначейские знаки, которые обеспечивались всем государственным достоянием (по крайней мере $\frac{1}{4}$ часть всех государственных казначейских билетов, находящихся в обороте, были обеспечены золотом или стабильной иностранной валютой); 3) металлические деньги. Латвийский банк мог распоряжаться только банкнотами, отпечатанными в Англии, а эмиссионные права на государственные казначейские знаки и металлические деньги принадлежали Министерству финансов.

20 сентября 1931 года, во время всемирного экономического кризиса, Англия отказалась от размена банкнот на золотую монету и отменила золотой стандарт. Курс фунта стерлингов упал на 30,7%. Государства, чьи финансы основывались на английской валюте, последовали примеру Англии. Банкноты Латвийской Республики тоже были частично обеспечены иностранной валютой, и поэтому Латвийский банк в одну ночь (на 21 сентября 1931 года) из-за разницы в курсах потерял 2 113 815,03 латов. В соответствии с правилами об операциях с иностранной валютой от 8 октября 1931 года неограниченный обмен банкнот Латвийского банка на золотые слитки был отменен. Для покрытия дефицита государственного бюджета в 1931 году были выпущены билеты так называемого «займа внутренних дорог» на 30 лет общей стоимостью 20 миллионов латов. Несмотря на это, Министерство финансов продолжало усиленно внедрять в обращение государственные казначейские знаки и металлические деньги, серебряные в том числе. Люди стали накапливать их. Эмиссия банкнот превратилась в эмиссию бумажных денег, что привело к инфляции. В связи с этим правительство сократило обеспечение банкнот с 50% на 30% и 12 сентября 1936 года провело девальвацию лата, приравняв курс лата курсу английского фунта стерлингов в следующем паритете: 1 фунт стерлингов = 25,22 латам. В результате девальвации, конечно, все стало дороже.

В сентябре 1939 года правительство приняло дополнение к закону, в соответствии с которым Латвийский банк должен был обеспечить поддержание курса лата на уровне, подходящем для народного хозяйства Латвии, основываясь на золоте или стоимости какой-нибудь другой стабильной валюты, правда, не указывалось какой. Курс фунта стерлингов колебался, Англия включилась в войну — поэтому 13 сентября Латвийский банк вышел из системы британского фунта, а валютные запасы перевел в доллары. Почти все золото Латвии хранилось за границей. В 1939 году на месте находилось всего лишь 29% золотого запаса.

24 апреля 1940 года совет Латвийского банка дал разрешение Министерству финансов, в качестве исключения, вместо металлических денег выпустить бумажные государственные казначейские обменные знаки. Теперь можно было значительно увеличить эмиссию, потому что мелкие разменные деньги можно было пускать в обращение по мере необходимости. Тогда был выпущен разменный знак государственного казначейства достоинством в 5 латов.

С 25 ноября 1940 года в Латвии наряду с латами и сантимами средством платежа были утверждены червонцы и рубли СССР. Латы и сантимы были полностью изъяты из обращения 25 марта 1941 года.

ИГОРЬ САВОСТИН

ШПАРГАЛКИ СУМАСШЕДШЕГО

(О БЛЕДНОЙ НЕМОЧИ И ЖИВОЙ ВОДЕ)*

Из спектакля в спектакль, от роли к роли Ильин искал противоядие русскому мухомору, живую воду, настоенную не по чужим, а собственному рецепту. Впрочем, ходить далеко не надо было. Рецепт заключался в особой актерской природе Ильина — в его ясности и «детскости», как определил героев Чехова Борис Пастернак в «Докторе Живаго».

«Чайку» А. Кац поставил без надрыва, с тихим драматизмом, по-осеннему печально. Все несчастны, одиноки и разобщены, и ключом к каждому образу становилась фраза из Костиной пьесы о мировой душе: «Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет». Это концентрировало прагматическое направление поиска всех героев спектакля Каца и их душевное состояние — колодец. Ильин же, напротив, играл органичную слитность Треплева с миром, естественное стремление к людям, общение с которыми нарушалось не по его вине и не в его воле. Это катастрофически, с первых же минут спектакля обостряло трагедию его невольного одиночества и исподволь задавало тему авторитаризма, первой жертвой которого он становился. Все заняты только собой, и никому нет дела до «приживала» соринского поместья, «оборвыша» и «декадента».

Доверчивость и открытость Треплева всем мешала и всех раздражала, потому что «детское» незамутненное восприятие Треплева в исполнении Ильина исключало чистоту их помыслов и средств достижения целей. Его словно оцепляли красными флажками «непонимания» — его пьесу, его любовь, его сыновние чувства, его творчество, его жизнь. Никто явно не желал ему зла, но всеобщее «не помню», «не понимаю», фальшь и эгоцентризм ужасали и обессиливали его — при детском ясном предвидении и понимании.

В трактовке Ильина Треплев замыкался в себе, отходил на второй план, сливаясь со средой, и наблюдал оттуда, из темноты небытия, чужие драмы и трагедии. Зримое присутствие на сцене дополнялось присутствием незримым.

Мотив разобщенности снова возникает под занавес в устах Треплева: «Я одинок, не согрет ничьей привязанностью, мне холодно, как в подземелье...». Но Ильин играл эхо колодца устало и уже отрешенно. Пастернак говорил: «Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой люди любили и имели случай любить... Отчего же большинство ушло в облик сносной и только терпимой общности? Оно лицу предпочло безличье, испугавшись жертв, которых традиция требует от детства. Любит самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции,— дело наших сердец, пока мы дети».

Эту потребность в любви и невозможность жизни без отчего дома Ильин обретает уже в поздних, последних спектаклях «Чайки». Налет жертвенности туск-

неет, и возникает ощущение угрюмого вызова.

«Кабанчик» дает социальную почву для взрыва. Угрюмость героя Ильина усиливается до предела и его незримое присутствие становится нравственным камертоном всего спектакля. Ильин готовится если не к бунту, то уж по крайней мере к открытому стёбу над родительским домом, где все порушено и изгажено, куплено и изолгано, иллюзии используются в качестве туалетной бумаги, а диалог поколений идет на языке денежных знаков. Потому утверждение уважаемого коллеги, что Ильину якобы невозможно там совершить поступок Павлика Морозова и отречься от родителя, меня веселит.

Да, финал пошел по старой схеме.

Но в знаменитом монологе на обрыве Ильин все выложил и весь выложил.

И в «Гамлете», где Кац воссоздает образ откровенного и бесстыдного тоталитаризма, Ильин открыто выразил всю боль своего поколения двадцатилетних, выброшенных из дому на брежневскую брусчатку.

Он сыграл прозрение обманувшегося и оплеванного. Он сыграл в «Гамлете» отрицание всех своих предыдущих ролей в именовских спектаклях Каца. Он сыграл отрицание самого себя как кацевского резонера и привел своего Гамлета к той мере ужаса исторического зренья, которой Кац добивался от нас, фанатов, «оттепели». Той истины зренья, которая в исторической перспективе никогда не всеяла иллюзий.

Актеры — краткий обзор нашего времени. Прежний Ильин умер в «Гамлете», не износив своих прежних, юношеских сапог, купленных им самими и по ноге, а не на вырост, как покупали нам. И потому наёмник нового диктатора Фортинбраса тщетно пытается стянуть сапог с ноги мертвого Принца Датского. И Фортинбрас тщетно заливает молоком свечу Гамлета. Символические красивые финалы Каца, которыми он наострил откупаться от заклятий героев Ильина, здесь бесцельны. Не «Гамлет» Каца, а Гамлет Ильина отсчитывает счет здесь. И нет нарушения смысла в его словах. Я переспрашивал его в нескольких спектаклях. Он повторял их. А большой — не мог бы. Гамлет Ильина немилосерден ни к многодушью стариков, ни к малодушью старших братьев.

И в этом ряду поколений осквернение тела Гамлета-сына — финал, естественный для Каца в последнем спектакле на родной сцене в Риге.

Кац вновь, как в «Чайке», бросил труп своего Йорика в раскачивающиеся качели Вечности, напоминая нам о своих прежних спектаклях-пророчествах.

Но Ильин — уже не Йорик. И он — не могильщик своего бывшего юношества, которое было дорогим и для Каца, как бы он этого ни скрывал. Неизношенный сапог Гамлета — не снимается. Гамлет Ильина требует ответа, а не сладострастного умирания. Он не жертва, не телец,

отданный на заклятие во имя идолов и идеалов.

Ильин не допустил осквернения Гамлета-сына вопреки всей логике спектакля.

В «Гамлете» не смертью своей, а жизнью он развенчивает пустые иллюзии и абстрактные идеалы. Еще при жизни он мстит тем людям, которые обманывали его и заставляли верить в то, во что они сами не верят.

Он неважный политик и неискусный интриган, и все его уловки профессионалы Эльсинора просчитывают наперед. Но он верный сын и чистый любовник. Гамлету Ильина не нужна власть, а если и нужна, то для того, чтобы отомстить за поруганный очаг.

По железной логике постановки, — вся эта заваруха в Эльсиноре — очередной эпизод в извечной мышинной возне и грызне. Но Ильин играет другое. Он карает семейство Гамлета своим судом:

Живите в доме —
и не рухнет дом.

Мне стыдно перед этим поколением, потому что мы были последним звеном всеобщей летаргии, когда державные отцы разрушали дом. А перед Кацем мы не стыдились, потому что наготове был подлый вопросик: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...»

«Гамлет» Каца по-прежнему внушает нам идею бессмысленности иллюзий и подсудности деяний.

Гамлет Ильина говорит о подсудности кровопролитий и жертвоприношений и об осмысленности борьбы против тоталитаризма. Он не отрезвляет от иллюзий, а показывает кровавую историческую реальность их воплощений.

У Каца — притча, у Ильина — горячая плоть. У Каца — мифология, у Ильина — человеческая трагедия. С Кацем философствуешь, с Ильиным плачешь. Кацу киваешь головою, а с Ильиным вместе драться.

За Гамлетом Ильина встает уже другой опыт другого поколения — у него другая пульсация вен, и они раскручивают свой путь по разтрескавшейся земле, по городу в дорожной петле, требуя перемен!

Я не хочу сказать, что принц датский у Ильина — рокер или террорист. Он нормальный браток, и ему лапшу на уши не навесишь. У него крепкий кулак, и он знает, кто виноват и что делать, чтоб восстановить порванную связь времен.

Кац постоянно боялся такой эволюции героев Ильина. Он всегда хранил наивную жертвенность Ильина, как хранят амбар от раскулачивания. Ему хотелось, чтобы зерно всегда было, но никогда не прорастало.

Зёрна в «Гамлете» проросли и показали свои корни и свои стебли. Корни Каца и стебли Ильина. Корни и стебли разных эпох и разных поколений. Тут я, как зерно поколения тридцатилетних, издаю короткий вскрик и задыхаюсь в Никуда спектакля Каца.

Ильин своей юношеской рукой дотянулся и распахнул потайное окно этого Никуда. И доказал, что там все дух свеж и свет светит. Дальнейшее — молчанье... Надо вдохнуть поглубже и веки разомкнуть.

Живая вода Ильина.

Декабрь, 1988

* Окончание. Начало в № 3, 1989



РАЛФС ВУЛИС КОЛЛАЖИ

Говорят, что в одной развитой стране придворным этикетом предписано, чтобы официант, разливая шампанское во время официального приема нарочно совершал оплошность. Желательно немного пролить на пол или даже на одежду одного из высоких гостей... Смех, чередуясь с извинениями, разряжает напряженную атмосферу приема, и дальше переговоры проходят более непринужденно и с меньшей чопорностью. Кажется, именно таких «случайностей» недостает нашим взаимоотношениям. В обстановке недоверия и подозрительности недоразумение следует за недоразумением, и не найдется смельчак, который бы находчиво замарал парадные одежды спорщиков. Никто не рискует, кроме Ралфа Вулиса. Его иронический фотомонтаж заставляет вспомнить классиков этого приема — Житомирского и Хартфильда, которые в свое время искусно состыковали физиономию Геббельса с обезьяньим оскалом и империалистов с круглыми долларами вместо голов. То было тогда. А может быть настало время и нам посмеяться над самими собой? Прав тот, кто сказал, что человечество смеясь расстается со своими недостатками. А недостатков у нас хватает. Не хватает шампанского. Ралф утверждает, что он полный идиот. Я смеюсь над парадоксами его фотомонтажей. Шут может сказать королю то, что не смеет никто другой. Правду тоже.

ВАЛТС КЛЕЙНС



P.B.



P.B.



P.B.



Юрий Цивьян, Юрий Лотман

**ЗВУК КАК ЭЛЕМЕНТ
КИНОЯЗЫКА***

И.И.

* Печатается в сокр. по рукописи «Страницы теории и истории кино. Книга для юношества».

Когда после успеха первого звукового фильма «Певец джаза» (1927) наступила эпоха повального увлечения говорящими картинками, художники немого кино были повергнуты в глубокою растерянность. Положение было действительно парадоксальным и по драматизму напоминало гибель целой культуры. На смену изощренному, развитому, гибкому немому киноязыку приходило кино, которое еще ничего не умело, казалось грубым и варварским. Мэри Пикфорд, звезда немого кино, выразила общее ощущение: «Если бы звуковое кино породило немое, в этом еще была бы какая-то логика, но ведь на самом деле все обстоит наоборот...». Дело в том, что необходимость говорить ставила под сомнение не только вершинные достижения киноискусства. Удар пришелся и по тем любимцам публики, которым, казалось бы, звук ничем серьезным не угрожал. Если искусство Чарли Чаплина или Бастера Китона, по своей природе напоминающее пантомиму, обесмысливалось в своей основе (представьте себе зрителя, обратившегося к миму с таким предложением: «не надо кривляться, ты мне человеческим языком объясни, что ты хочешь»), то чем грозило говорящее кино многословным немым мелодрамам, где герои объяснялись в любви, а текст давался отдельно в виде надписей? Здесь неприятный момент заключался в голосе. Глядя на лицо любимого героя, зритель немого кино мысленно наделял его тембром и интонациями, которые по его зрительскому разумению, больше всего такому лицу подходят. Облик Рудольфо Валентино для всех его почитателей был единым, но голос каждый мог выбрать по своему вкусу. Для любимцев публики первый звуковой фильм был серьезным испытанием — что, если его голос окажется не таким, каким представлялось публике? В 1928 году, когда слухи о звуковом перевороте в кино дошли до Советского Союза, один из самых пронзительных театральных критиков А. Кугель в газетной статье предсказал трагедию, ожидавшую многих кинозвезд: «Действительно, что может сказать большая часть фильмов? Они в огромном большинстве похожи на очаровательных дурочек, которым стоит раскрыть уста, чтобы разрушить очарование. Это про одну из них сказал Бодлер: «будь прекрасна и молчи». Речь обладает единственно способностью выявлять истинную сущность человека. Даже звук голоса, а не только слова и их сочетание, — может быть умный или глупый. И тогда, — если эти filmy заговорят, — что же это будет?.. Это будет катастрофа!» Одну из таких катастроф, самую сокрушительную, пережил первый любовник американского экрана, постоянный партнер Греты Гарбо красавец Джон Джилберт. Голос Греты Гарбо, хотя и изменил характер ее облика, только обогатил диапазон актрисы: он оказался не сладким голосом дивы, а силоватым выговором выдавшей виды женщины. Что касается ее партнера, то ему микрофон нанес непоправимый удар. Как писал режиссер К. Бранлоу, Дон Жуан оказался обладателем голоса Мики-Мауса. Более того, поклонницы, с нетерпением дождавшиеся коронной сцены Джилберта — романтического объяснения в любви, были вынуждены выслушать слова, которые оказывается, он по таким случаям произносит: «Эти два часа я только и делал, что ждал, ждал, ждал... Любимая, любимейшая, вся моя жизнь с тех пор как я узнал тебя, — сплошное ожидание... Так веле-

ли твои глаза, так велели твои губы, так велело твое сердце... Я люблю тебя! Что остается делать мужчине, когда он любит так безвозвратно, как я?» Шок был слишком велик, и Джилберт уже никогда больше не пользовался прежней популярностью. Зрительницы потеряли веру, что их герой находит какие-то единственные, только ему известные слова.

ЗВУК И ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Представим себе такой кадр: человек говорит по телефону. «Озвучим» его в двух вариантах: в одном варианте мы слышим реплики невидимого собеседника, в другом не слышим.

В чем будет различие? В одном случае разговор предстанет нам с точки зрения говорящего, в другой — с ничьей, «объективной» точки зрения. Или возьмем такой пример: двое идут по берегу моря. Мы видим их на дальнем плане, но слышим разговор словно вблизи. Две точки зрения — зрительная и звуковая — явно противоречат друг другу. Между тем никому такой кадр не покажется странным.

Таким образом, мы можем сказать, что звук в кино позволяет существенно усложнить смысловую композицию фильма. В этом, а не в том, что со звуком кино больше похоже на жизнь, заключается преимущество звукового кинематографа. Представим себе самый обычный кадр: человек читает письмо. В немом кино письмо просто показывали на крупном плане. В течение нескольких секунд зритель получал важную для сюжета информацию — что один персонаж сообщает другому. Иногда попутно зритель делал заключение о почерке: написанно нервно или спокойно, ребенком или взрослым, поспешно или старательно. После этого мы получали порцию новой информации — выражение лица, с которым эту новость воспринял адресат. Можно ли так усложнить кадр, чтобы, читая письмо, мы одновременно получали информацию о душевном состоянии читающего? В немом кино этого сделать нельзя: канал информации слишком узок. В звуковом кино открывается целый ряд новых возможностей. Мы видим письмо и слышим взволнованный голос его автора, или — читаем письмо и слышим взволнованный голос адресата. Можно ли утверждать, что звук сделал эти кадры более похожими на жизнь? Конечно, нельзя — даже во втором случае: вслух письма читают разве что полуграмотные. Зато резко возрастает сложность получаемой нами информации в единицу времени. Более того, режиссер вправе на порядок усложнить кадр, предложив нам возможность услышать интонации и читающего письмо, и написавшего его. Правда, в истории кино такие случаи встречаются нечасто. Возможно, единственный фильм, в котором режиссер позволил себе наложить на письмо два голоса: женский и мужской, перебивая, обгоняя друг друга, читают слова, которые мы видим тут же на экране, — картина К. Муратовой «Перемена участи» (1987). Ценность звука — в повышении сложности изображения.

Но повышение сложности не обязательно прямо пропорционально механическому умножению каналов информации. Вспомним наше определение: художественную структуру фильма образуют только такие элементы, которые художник волен применять или не применять. Уже на раннем этапе звукового кинематографа

режиссеры начали пользоваться звуком как средством, повышающим свободу художественного выбора. В 1929 году в фильме «Под крышами Парижа» Р. Клер в разных сценах по-разному обыграл возможность неожиданно убрать звук или, оставив звук, убрать изображение. Ночная ссора любовников предстает нам в темноте; когда двое друзей ссорятся из-за девушки, камера вдруг оказывается за стеклянной дверью кафе (на первом плане — буквы на стекле!), и снова нам приходится угадывать. Кульминационная сцена — драка на вокзале — решена так: по мере нарастания напряжения режиссер сначала «убирает» изображение (дерущиеся скрыты клубами пара из проходящего паровоза), а через некоторое время лишает зрителя и возможности слышать звуки поединка — их заглушает поезд. Следует ли считать, что, лишившись одного из каналов информации, фильм сразу сделался проще? Безусловно, нет. Фильм сделался сложнее, потому что художественная сложность определяется не плотностью потока информации, а тем, насколько разнообразно переплетаются визуальные и звуковые точки зрения. И здесь не обязательно требуется, чтобы звуковая и зрительная точки зрения объясняли, мотивировали друг друга. Рене Клер, решив убрать звук, поместил камеру за стеклянную дверь. Современный голландский режиссер И. Стеллинг обошелся без двери. В фильме «Стрелочник» (1986) рассказывается об отчаянном одиноком человеке, стерегущем заброшенную железнодорожную ветку. Когда одичавшего стрелочника обуревают какое-нибудь чувства, он идет на холм и во весь голос кричит. В финале фильма, когда он должен расстаться с единственным близким человеком, мы видим лицо стрелочника, напряженную шею и раскрытый в крике рот, но звука не слышим никакого. «Снятый звук» здесь действует ошеломляюще — зритель теряет: может быть, герой оглох от горя, и режиссер предлагает нам точку зрения человека, не слышащего собственного голоса? Или крик настолько глушитель, что наш слух отказывается его воспринять? Точка зрения остается открытой, и сам факт открытости, нерешенности, необъясненности художественного решения косвенно указывает на невыразимость постигнутой стрелочника трагедии.

ИЗОБРАЖЕНИЕ И СЛОВО

Звук дал возможность на несколько порядков усложнить художественную структуру текста. Ошибка тех, кто на первых порах звукового кинематографа с горечью указывал на гибель тонкого и сложного искусства повествования с помощью пластических образов, заключалась в подмене целого частью: Чаплин, Ганс и другие художники немого кино продолжали считать изобразительный ряд **целым**, в то время как с приходом звука изображение стало **частью** более сложного целого — звукозрительного искусства кино. Изобразительный ряд, действительно, стал проще, но он перестал быть «вещью в себе». Сложность изображения не исчезла, она перестала быть внутренней сложностью и сделалась сложностью внешних связей.

Звуковое, говорящее кино значительно прочнее связано с законами национального мышления и национального языка. Это тоже почувствовали приверженцы немого кинематографа, возвестившие миру: «Погибло великое искусство меж-

национального общения!». Действительно, производство фильмов на экспорт усложнилось (техника дублирования разработана сравнительно недавно, а в 1930-е годы приходилось, например, для немецкого фильма держать две сменные команды актеров: французов и англичан, повторявших каждую сцену), и международный кинорынок оскудел. Но можно ли утверждать, что межязыковые барьеры привели к обеднению мировой кинематографической культуры?

Рассмотрим два примера. Одному из авторов этой книги довелось переводить на русский язык фильм А. Хичкока «Человек, который слишком много знал» (1934, Великобритания). Это был синхронный перевод в присутствии киноаудитории. Фильм Хичкока — шпионская история времен первой мировой войны. В начале фильма убивают английского агента, который, умирая, успевает сообщить соотечественнику, что важные для страны сведения зашифрованы и спрятаны в его комнате в предмете, который он обозначил английским словом brush. Значение этого слова — «щетка», и переводчику не составило труда донести до зрителя смысл этой фразы. В следующем эпизоде соотечественник погибшего поднимается в его комнату и начинает потрошить все предметы, соответствующие обозначению brush: щетку сапожную, одежду, щетку метлы, зубную щетку и, наконец, находит шифровку. Однако в этот момент переводчика ожидал конфуз: записка оказалась совсем не в щетке, а в кисточке-помазке для бритья. Дело в том, что английское слово brush включает в себя и это значение. Для русского же уха назвать кисточку щеткой звучит дико. Зритель недоумевал: может быть, это не та шифровка? Или в комнате уже кто-то побывал и перепрятал записку? Английский язык, как и эстонский, членит предметный мир несколько иначе, чем русский, и при переводе фильмов с этим приходится считаться. Если фильм цветной и героиня говорит: «Я приду в платье такого-то цвета», то горе переводчику, которому встретилось слово blue — платье может оказаться и синим, и голубым, а выбирать слово для перевода приходится уже сейчас. Или когда в начале фильма муж спрашивает: «Кто это звонил?», а жена отвечает: «Звонил my friend сказать, что сейчас зайдет», — человек о котором идет речь, может оказаться как женщиной, так и мужчиной: «друг» и «подруга» по-английски обозначаются одним и тем же словом — friend. Но в двух последних случаях выход легко найти: достаточно предварительно ознакчиться с фильмом, и только потом браться за перевод. Что же касается случая с кисточкой и щеткой, знание того, что записка окажется в кисточке, делу не поможет: переведи мы слова умирающего «Шифровка спрятана в кисточке», станет непонятным, зачем англичанин, вместо того, чтобы прямо направиться к умывальнику, калечит все находящиеся в комнате щетки?

Другой пример, похожий, но не идентичный. В фильме Л. Бунюэля «Ангел-стремитель» (1962, Мексика) происходит необъяснимое: гости богатого дома, удерживаемые какой-то мистической силой, в течение недель не могут покинуть замок, куда были приглашены на обед. Многие заболевают, иные от отчаяния приходят в буйство. Среди гостей лишь один человек — врач, похоже, не теряет самообладания. Но и в нем есть какая-то странность. Например, ставя диагноз, он иногда почему-то предсказывает облысение:

Рауль: Бедная Леонора! . . . Как она? Идет ли дело на поправку?

Доктор: К сожалению, нет. Месяца через три она будет совсем лысой.

Скоро зритель начинает понимать, что это предсказание как-то связано со смертью, но почему доктор упорно придерживается такого диагноза, тогда как никаких признаков облысения на экране не видно, остается необъяснимым. Сюжет фильма загадочен сам по себе, и прелесть образа доктора — в его загадочной манере выражать свое суждение. Но оказывается, эта привлекательная странность открывается в образе доктора только человеку, плохо знающему испанский язык. В испанском есть выражение al final todos calvos (буквально: «в конце каждый лыс», означающее, что перед смертью все равны по видимому, здесь иносказательно подразумевается череп). Для знающего испанский язык связь между лысым и мертвым — привычная языковая ассоциация. Мексиканский зритель сразу догадывается, к чему клонит доктор. Однако можем ли мы утверждать, что зритель иноязычный, не знающий поговорок, оказывается в невыгодном положении? В данном случае этого утверждать нельзя. Более того, не будет парадоксом предположить, что иноязычный зритель здесь будет зрителем более благодарным: для него связь между «лысым» и «мертвым», поначалу неочевидная, рождается в процессе, по ходу фильма он как бы самостоятельно изобретает испанскую поговорку.

Таким образом, мы можем сказать, что «языковой барьер», возведенный говорящим кинематографом, может действовать двояко. С одной стороны, он обедняет фильм, затрудняет его восприятие в чужой культуре. Но искусство — не телеграф, оно и само часто предпочитает легкому пути путь затрудненного понимания. Оно есть не потребление, а процесс. Поэтому, с другой стороны, языковой и культурный барьер часто обогащают восприятие фильма. Искусство помогает нам видеть привычные вещи в непривычном свете. Незнание языка, быта, стереотипов мышления чужой культуры часто способствует этой работе искусства, превращает просмотр фильма в открытие нового мира.

ГОЛОС В КАДРЕ И ГОЛОС ЗА КАДРОМ

Представим себе, что мы опоздали и вошли в зал, когда фильм уже начался. Мы видим на экране лицо и слышим голос. Спрашивается — что мы можем сказать об этом кадре?

Во-первых, мы определяем, кому принадлежит эти слова, совпадают ли они с движением губ на экране. Предположим, лицо на экране молчит, а голос продолжает говорить. Какие нам остаются варианты?

Вариант первый. Сцена — фрагмент диалога, лицо на экране слышит реплику собеседника в закадровом пространстве.

Вариант второй. В закадровом пространстве никого нет, мы слышим «внутренний голос» персонажа, чье лицо показано на экране. Так решен монолог «Быть или не быть» в двух экранизациях «Гамлета»: Лоренса Оливье (1948) и Григория Козинцева (1964).

Вариант третий и последний. В пространстве фильма нет никого, кому бы принадлежал этот голос. Это голос рассказчика, автора фильма. Мы и не предполагаем, что нам покажут носителя этого голоса. Напротив, это бы повергло зрителя в не-

которое замешательство. Именно поэтому некоторые режиссеры прибегают для зрителя сюрприз. В фильме «Выкорми ворона» (1975, Испания) звучит голос взрослой женщины, рассказывающей о своем детстве. На экране действует она же — еще девочка. Но вот в одном кадре камера неожиданно отъезжает в сторону, и вдруг по соседству с девочкой нам открывается фигура сидящей женщины, произносящей текст, который мы прежде считали закадровым. Привычная условность кинорассказа уступила место непривычной, придуманной режиссером специально для этого фильма. Зачем Сауре понадобилось нарушать устоявшееся правило киноязыка? Именно потому, что оно слишком устоялось. В картине «Выкорми ворона», благодаря новому приему, мы почти физически ощущаем близость, тесное сопряжение эпох, рассказчица из будущего здесь не бесплотное существо: зритель постоянно чувствует ее взгляд, как пассажир трамвая чувствует взгляд человека, читающего через его плечо газету.

Это — сознательное нарушение правила, согласно которому закадровый голос должен принадлежать невидимому рассказчику. В таком голосе мы не усматриваем ничего странного. Однако на заре звукового кинематографа голос диктора особенно возмущал зрителей, обделенных художественным чутьем. В недавно опубликованных воспоминаниях М. Ромм рассказывал о кинематографе в эпоху культа личности: «... дикторский текст был одно время запрещен, потому что на просмотре одной картины Столлера о летчиках, которая сопровождалась дикторским текстом, Сталин заметил: «Что за загробный мистический голос я слышу тут все время?» После этого в течение пяти лет нельзя было включать ни в одну картину дикторский текст: это считалось мистическим, не свойственным духу русского народного искусства. Я выдержал гигантскую борьбу за дикторский текст к «Секретной миссии», и так как персонально ко мне Сталин относился хорошо, то в конце концов разрешили оставить дикторский текст в половинном размере. Дикторский текст разрешался в документально-художественном жанре в виде сводок и сообщений, которые читал Левитан привычным голосом».

Зададим вопрос — почему Сталин делал исключение для документального жанра и для голоса Ю. Левитана, знаменитого диктора военной и послевоенной эпохи? Ответ не так прост, как может показаться на первый взгляд. Лишь в последнее время начали появляться исследования, посвященные воздействию голоса на изображение. Когда Сталин утверждал, что в голосе невидимого рассказчика есть что-то мистическое, он был не далек от истины. Как утверждают исследователи (в частности, французский киновед М. Шилон), традиция древних религиозных сект — таких как древнегреческие пифагорейцы, а также некоторые ответвления иудаизма и ислама, — требует, чтобы во время богослужения жрец, учитель, священник произносили слова учения не на виду у аудитории, а находясь за ширмой или занавеской. Невидимый голос звучит авторитетнее. Видеть говорящего — значит понимать, что мы слышим мнение отдельного человека, с которым можно соглашаться или не соглашаться. Голос невидимого претендует

на большее — на абсолютную истину. Утверждают, что в раннем детстве, когда человеком командуют категоричнее всего, ребенок реже обладает возможностью лицезреть обладателя голоса. Например, когда тебя учат ходить, поучающий голос звучит у тебя за спиной. И вообще голоса взрослых плавают где-то над головой. Все эти обстоятельства способствуют авторитарности невидимого голоса, придают его суждениям оттенок бесспорности и директивности.

История кино подтверждает эти наблюдения. У каждой эпохи есть свой эталонный диктор, эталонный голос, «единственный правильный» интонации закадрового текста. Для сталинской эпохи — это Левитан. Документальные кадры сами по себе мало что означают — для того, чтобы придать им нужное звучание, нужен закадровый голос. Тут важны даже не столько слова, которые он произносит, а интонация, диктующая зрителю правильное отношение к тому или иному событию. Закадровый дикторский голос действует с помощью не объяснений, а внушения.

Вопрос о закадровом голосе в современном кино стал не только проблемой теоретических дискуссий, но и темой художественного изображения. Упомянем два таких фильма. В картине французского документалиста К. Маркера «Письмо из Сибири» (1958) трижды подряд прокручиваются одни и те же документальные кадры жизни современного Якутства, но каждый раз с другим комментарием. Первый комментарий составлен по образцу советских пропагандистских фильмов тех лет, второй построен как строились западные хроники времен холодной войны, третий похож на комментарий «клуба кинопутешественников». Это напоминает «эксперимент Кулешова» — зритель каждый раз видит другие улицы с другими людьми.

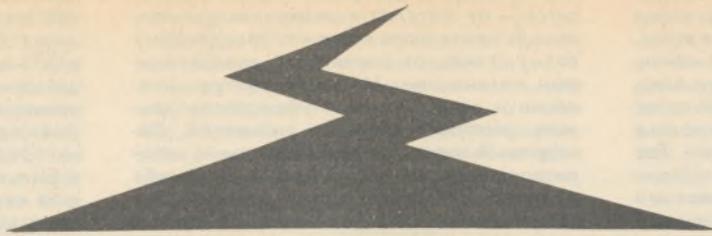
Другой фильм, столь же блестяще показавший нам природу дикторского текста в кино, — фильм латышского документалиста А. Сукутса «Голос» (1986). Герой этого фильма — старейший диктор Рижской студии документальных фильмов, обладатель глубокого бархатного голоса Б. Подниекс. Этот диктор прошел через всю историю латышского кино, с первых послевоенных лет до середины восьмидесятых. Фильм Сукутса о том, как каждая новая эпоха формирует свои требования к дикторскому голосу, вырабатывает свои приемы внушения. Сам диктор так рассказывал о своей работе: «В 50-е годы я равнялся на дикторов Ю. Левитана и Яниса Миеркалса. Подражал их тяжелой, торжественной манере чтения, выражался важно, с пафосом. В 60-е годы, когда начиналась школа так называемого поэтического документального кино Латвии, перешел на восторженное, с бархатными нотками воркование (словно женщине на ушко), разукрашивал каждое слово, подслащивал медом. Звукорежиссер Вишневикий бывало так и говорил — делаем вариант бельканто. В 70-х годах перешел к самой трудной манере дикторской речи — простой разговорной. Яркими ее представителями для меня стали Иннокентий Смоктуновский и Ефим Копелян». Что сделал режиссер фильма «Голос»? Он сложил в хронологическом порядке фрагменты из хроник с комментарием Подниекса и в сжатой форме показал нам эволюцию идеологических моделей нашего общества на материале изменяющегося голоса — голоса человека, сорок лет прослужившего глашатаем исторической истины. На наших глазах эта истина меняет лицо. Меняются

и интонации, с которыми она преподносится — от металла к подкупающим ноткам, от праведного гнева к справедливому возмущению, от поучения к доверительным интонациям. Меняется контур интонации и тембр, но, как убеждается зритель, риторика остается риторикой. Закадровый голос, по мысли фильма, авторитарен по природе. Тот, кто берет на себя говорить от лица истины, настраивает свой голос на ложную струну. В человеческом голосе нет таких интонаций, которые позволяли бы, говоря от лица истины, оставаться в рамках правды. Голос правдив, пока он несет правду отдельного человеческого мнения.

Таков художественный смысл картины А. Сукутса «Голос». Было бы ошибкой на основании ее художественной аргументации делать вывод о изначальной «порочности» всякого закадрового комментария. Художественный смысл нельзя извлечь из конкретного произведения и переносить в рассуждения общего порядка. Закадровый голос, как и всякий другой элемент киноязыка, не бывает плохим или хорошим сам по себе. Рассуждать подобным образом означало бы разделить мнение Сталина относительно «мистического загробного голоса» за кадром. Голос в кадре и голос за кадром — полноправные элементы языка кино, и если режиссеры последних лет все пристальнее присматриваются к роли голоса в истории кино и в истории общества, то это потому, что возможности звука в кино еще не использованы и не осмыслены до конца. В фильмах последнего времени часто сталкиваешься с экспериментами в области звуко-зрительных отношений. Если «Письмо из Сибири» К. Маркера предлагало нам три варианта звука, наложенных на одно и то же изображение, то, например, в «Фаворитах Луны» (198...) О. Иоселиани налицо опыт противоположного свойства. Несколько раз на протяжении фильма мы слышим одни и те же реплики и целые диалоги. Словесный текст не просто возвращается к тем же мотивам, а повторяется дословно, реплика в реплику. То мужчина и женщина обмениваются галантными остротами о тщете слов и обещаний, то человек за столом произносит литературный монолог, прославляющий природу во время охоты. Однако в первый раз возлюбленные — французские аристократы XVIII века, а повторяют диалог, одеваясь, падкая до любви богатая парижанка и профессиональный взломщик, сблизивший ее, чтобы ограбить. Монолог о природе впервые произносит романтик-охотник, а в современном Париже эти слова старательно вызубрил полицейский, стремящийся просочиться в хорошее общество. Тема фильма Иоселиани — обесценивание искусства, утрата ремесла, погружение ценностей культуры на дно современной жизни, где все становится предметом спекуляции в руках воров, мусорщиков и проституток, — вбирает в себя и судьбу главного достоинства человеческой культуры. Это речь, слово. Полотно старого мастера, переходя из рук в руки, превращается в миниатюру (грабители каждый раз бритвой вырезают картину из новой рамы), бьются тарелки старинного сервиза. Человеческая речь поступает на стогны современного мира в виде обесмысленных осколков и затасканных цитат.

В фильме К. Муратовой «Перемена участи» эксперимент со звучащим словом поставлен еще смелей. Мы уже упоминали кадр, где текст письма, перебивая друг

друга, читают два закадровых голоса — той, кто писала письмо, и того, кто его получил. Событийное ядро фильма — разговор между молодой женщиной и охладевшим к ней любовником. Этот разговор приводит к убийству: предчувствуя разрыв, героиня стреляет в любимого человека. Это — центральный, главный диалог в фильме, но в полной форме он появляется на экране ближе к концу картины. До этого момента зрителю предлагаются разнообразные и многочисленные варианты Главного Разговора. Этот разговор реконструируется по крупицам на допросах, звучит в снах и воспоминаниях героини, повторяясь и варьируясь. В начале фильма мы видим героиню в кресле в зимнем саду, напоминающем искусственный парадиз в стиле модерн (действие фильма происходит на рубеже веков). Появляется элегантный молодой человек и галантно предлагает свою любовь. Мы понимаем, что это — начало романа. Но вместе с тем за кадром звучит странный голос, произносящий реплики какого-то другого диалога, не до конца понятного. Голос бесплотен и при этом начисто лишен интонаций. Это — не устная речь, слова расставлены как на бумаге. Но это и не письменный протокол. Муратова не предлагает зрителю готовых решений и даже не заботится о сюжетном правдоподобии ситуации. Когда в следующую минуту те же реплики всплывают в другом исполнении (их произносят два голоса, женский и мужской), мы обращаем внимание уже не столько на содержание слов — содержание нам известно, — сколько на богатство интонации. На протяжении всего фильма голосовые партии организованы по симфоническому принципу, с повторением фраз, отдельных реплик, целых фрагментов диалога. Но повторяющиеся «мотивы» каждый раз проводятся в несколько иной эмоциональной тональности, отданы разным голосам. И все же главным противопоставлением остается заданное в самом начале — противопоставление пустых, бесстрастных слов и слов, произнесенных с сильным чувством. Когда приходит время увидеть Главного Разговора, диалог, закончившийся убийством, мы внезапно понимаем причину, по которой не мог докопаться ни адвокат, ни следователь, полагавшие, что мотив убийства лежит где-то за пределами диалога, в мире денежных, политических или романтических отношений. На самом деле внеположенной причины нет — выстрел был частью диалога, репликой, вытекающей из внутренней логики Главного Разговора. Женщина, прозванная об измене любимого человека, требует объяснений. Она готова принять как раскаяние, так и окончательный разрыв, но она не может согласиться на **никакое** объяснение, на отказ от объяснения вообще. Между тем ее партнер выбирает самый мучительный для женщины вариант разговора — отказ от диалога. Он не желает вступать в разговор. Таким образом, диалог превращается в поединок эмоции и пустоты. Она вызывает его на разговор, навязывает ему диалог, наконец, встает на путь прямого суфлирования. Героиня просит его повторить за ней «я тебя люблю», и он безучастно повторяет. Тогда она велит сказать «ты мне противна» и слышит в ответ покорное повторение. С юридической точки зрения, выстрел является попыткой пресечь жизнь человека. Но в контексте такого диалога выстрел скорее прочитывается как отчаянная попытка разбудить, вернуть к жизни пораженного апатией возлюбленного.



ПУБЛИЦИСТИКА

ВИЛНИС ЗАРИНЬШ

ФИЛОСОФИЯ ГРАБИТЕЛЕЙ

«ДРАНГ НАХ ОСТЕН»
И ЛАТВИЯ

Экспансия германского империализма шла в разных направлениях, но одной из первых ее целей неизменно была Латвия. Этого слова, правда, немецкие фашисты обычно избегали, говоря о Прибалтике в целом. Особый интерес к ней объясняется и географическими соображениями, и вековыми захватническими традициями.

23 августа и 28 сентября 1939 года Й. Риббентроп подписал в Москве договоры, по которым Прибалтика отходила к СССР. Узнав об этом, А. Розенберг и В. Дарре пришли в ярость. И вовсе не потому, что Риббентроп посмел заявить, будто советские вожди очень похожи на ветеранов национал-социалистского движения, но именно из-за Прибалтики. А. Розенберг вконец осерчал — по его мнению (см. «Политический дневник Альфреда Розенберга 1934/35 и 1939/40», с. 97), Риббентроп отдал Сталину этот регион задешево и вопреки германским интересам.

Еще 24 сентября А. Розенберг, переговорив накануне с В. Дарре, сделал в дневнике такую запись: «... Железная дорога на Румынию уже в руках русских (очевидно, имеется в виду Львовский узел. — В. З.). Если теперь русские еще и в Прибалтику войдут, стратегически мы и Балтийское море потеряем, Москва станет сильнее, чем когда-либо, и в любое время возможны совместные действия (Zusammengehen) ее и Запада против нас. Все правильно (Alles richtig)». (В годы Веймарской республики на публичных домах гомосексуалистов красовалась вывеска «Здесь правильно».)

5 октября А. Розенберг записывает: «... Но одно ясно: в стратегическом отношении Москва сильно продвинулась и закрепилась в Прибалтике. Сначала в «опорных точках», потом совсем. Тем самым Балтийское море уже никакое не германское море, и именно Москва в северной его части может угрожать и даже господствовать...» (с. 102). Призывами к захвату восточноевропейских территорий, включая Прибалтику, пестрят труды многих идеологов нацизма. В открытую они зазывали в годы второй мировой войны, когда гитлеровские войска оккупировали обширные террито-

рии: в речи Геббельса 18 октября 1942 года, Г. Гиммлера в Познани 4 октября 1943 года, в редакционных статьях издававшихся в Остланде немецких газет. Все они вторили «Моей борьбе» (с. 742, 754—755).

Мы остановимся главным образом на аргументах немецко-фашистских руководителей и нацистской печати.

Чаще всего право немцам в Прибалтику они обосновывали четырьмя аргументами: 1) правом первооткрывателя, 2) правом завоевателя, то есть более сильного народа, 3) правом спецификатора и культуртрегера, 4) правом, вытекающим из жизненной необходимости для немецкого народа завоевать и колонизировать Прибалтику.

Все эти аргументы родились на свет задолго до фашизма, и ни один из них не имеет исторического обоснования. Самой старой является легенда о том, что Прибалтику «распечатали», то бишь открыли, немецкие торговцы XII века; в период оккупации она активно пропагандировалась (см. хотя бы Кох Ф. «Ливония и Рейх до 1225 года», Познань, 1943, с. 4—5 или Хартман В. «Балты и их история», Берлин, 1942, с. 9, 11—13). Но еще в начале нашего столетия латышский марксист Ф. Розиньш в своей работе «Латышский крестьянин» доказал, что это не более чем измышление. В годы оккупации циркулировали и уж совсем грубые исторические фальшивки — скажем, утверждения, что Прибалтика была древнегерманской землей, откуда германцы якобы вытеснили эстонцев, латыши и литовцы (см. Цитлов Ф. «Немецкая культурная страна на Востоке» в «Полевой газете от Мааса до Мемеля» от 25 апреля 1942 г.).

О том, что сила и насилие не могут быть источником права и законности, уже свыше двух столетий назад писал Жан-Жак Руссо в своих «Трактатах» (М., «Наука», 1969, с. 155).

Гораздо сложнее вопрос о культуртрегерстве и тем самым о праве спецификатора. Систематическое изложение проблемы еще во время первой мировой войны дал Рудольф фон Хернер Илен, которому удалось согласовать в своем труде

«Председатели курляндских ландсрагов» позиции остзейских баронов и правящих кругов кайзеровской Германии. Охарактеризовав вначале права, возникающие в результате длительного господства, он сравнил Прибалтику до агрессии немецких феодалов с сырым материалом — девственным полотном или мраморной глыбой, обработав который, прибалтийские немцы создали ценное произведение искусства и тем самым приобрели права владения.

Фашистские публицисты обычно перекатывали во рту какой-либо один элемент из культуртрегерского набора, заменяя рассуждения голыми декларациями. Так, они уверяли, что в основе всех северо-европейских культур лежат усилия немцев, что Прибалтика — страна древней германской культуры, что Рига — немецкий город, а рижское искусство — символ составной части германской империи, и в общем, все, что есть в Прибалтике хорошего и прекрасно, — плоды немецкой деятельности. В подобном же духе вещал со страниц «Немецкой газеты в Остланде» 19 февраля 1942 года рейхскомиссар края, гауляйтер и оберпрезидент Генрих Лозе, хотя он, видимо из административных соображений, воздал должное не только остзейцам, но и — в какой-то степени — деятельности эстонцев, латышей и литовцев.

Прославление культуртрегерства было явным сползанием с позиций последовательной немецко-фашистской идеологии, согласно которой культура — это проявление души расы, а образованные люди неарийской расы — всего-навсего дрессированные пудели.

Немецкое культурное влияние в Прибалтике — непростой вопрос. Глупо отрицать, что оно имело место, но и преувеличивать его не следует. Проблема эта требует специальных исследований.

Произвольно толкуемые интересы немецкого народа в Прибалтике освещались в трех главных аспектах: 1) Прибалтика как «Бастион для немецкого народа против угрозы с Востока»; 2) Прибалтика как источник сырья и продовольствия для немецкого народа; 3) Прибалтика как территория, подлежащая колонизации немецким народом.

Все это была старая песня, не претерпевшая никаких изменений с 1916—1917 годов, когда виднейшие военные теоретики и экономисты кайзеровской Германии подводили итоги первой мировой. Разве что колонизацию Прибалтики гитлеровцы хотели провести более стремительно и беспощадно по сравнению с прежними планами.

Угроза с Востока — это не научный термин, а публицистический штамп, и разные авторы понимали и трактовали ее по-разному. В системе пропагандистских лозунгов германского империализма этот тезис носил антирусский характер. Играя на ненависти прогрессивной интеллигенции западноевропейских стран к царизму, ставшему после наполеоновских войн жандармом Европы и потопившему в крови польские восстания 1830 и 1863 годов и венгерское 1848 года, империалисты Германии тщались изобразить свои агрессивные устремления на Восток как борьбу за свободу и демократию. В нацистской идеологии и пропаганде понятия Россия и большевизм отождествлялись, выступая вкупе с другими «восточными» элементами, например, евреями, гуннами, монголами.

В своей секретной речи перед молодыми офицерами в берлинском Дворце спорта 30 мая 1942 года Гитлер, в частности, утверждал, что нападения восточных народов оттеснили на Запад еще предков немецкого народа (видимо, имелись в виду готы в III—IV вв. н. э. — В. З.), и теперь, не будь германской армии, в Европе объявился бы новый Чингисхан, с международным евреем за спиной. 30 января 1943 года А. Розенберг конкретизировал это «видение», обвинив «Восток» главным образом в разжигании революционной активности в Европе (см. «Фелькишер беобахтер»).

Журналисты и публицисты фашистской Германии обсасывали тему восточной угрозы со всех сторон — они писали и о миссии Германии, призванной отвести угрозу с Востока, и о Гитлере как спасителе европейской и в первую очередь прибалтийской культуры, и о немецких оккупантах в СССР как проводниках планомерного порядка.

Еще во время первой мировой войны, когда стало ясно, что Германия не в состоянии удержать свои заморские колонии, публицисты и военные теоретики страны призывали захватить Прибалтику, да и вообще всю Восточную Европу как источник запасов сырья и продовольствия (см. Рорбах П. «Война и немецкая политика», Веймар, 1915, с. 118). А. Розенберг, выступая 20 июня 1941 года с речью о планируемом нападении на Советский Союз, заявил, что перед Германией стоят две основные задачи — обеспечить себя продовольствием и сырьем и навсегда ликвидировать политическое давление с Востока («Нюрнбергский процесс», в трех томах, т. II, с. 166).

Стремление повысить военный потенциал одного народа путем оккупации территорий, принадлежащих другим народам, — тяжкое преступление против международного права. Успешная политика «улучшения границ» может ведь продолжаться бесконечно — заимев одни надежные границы, начинают мечтать о еще более безопасных и т. п.

И все же наиболее любезны сердцу идеологов германского империализма всегда были планы колонизации При-

балтики. И они возникли задолго до появления национал-социализма. Только в отличие от тех, кто в первую мировую войну планировал уничтожить народы Прибалтики путем насильственной ассимиляции, гитлеровцы в период оккупации обычно отвергали планы онемечивания всех жителей Прибалтики. Впрочем, четких планов у оккупационных властей, по крайней мере официально, на сей счет не было, но имевшиеся проекты и оккупационная политика ясно обнажают расчеты на ликвидацию народов Прибалтики в самом скором будущем. Различия во взглядах касались только второстепенных вопросов — в какой мере ассимилировать эти народы или согнать их с занимаемых территорий, то есть уничтожить, и какими темпами осуществлять подобные меры. Повторялись требования предыдущих десятилетий об онемечивании народов Прибалтики в целом, высказывалось сожаление, что это не сделано раньше. Но ведущие идеологи германского фашизма делали акцент в основном на расовый подход. А. Розенберг, до второй мировой войны писавший о «сильно германизированных прибалтийских народах» как носителях немецкой культуры в России («Миф XX века», с. 112—113), во время войны организовывал их истребление. 8 мая 1941 года была принята инструкция для рейхскомиссариата Остланда, в которой предусматривалась ассимиляция лишь «расово приемлемых» представителей народов Прибалтики, прочие подлежали выселке. В Эстонии предполагалось германизировать около 50% населения, в Латвии и Литве — меньше («Нюрнбергский процесс», т. 1, с. 212—213).

После оккупации Прибалтики вопросы онемечивания латышей и других прибалтийских народов рассматривались в целом ряде совещаний в Германии и в верховных оккупационных учреждениях в Риге. На одном из таких заседаний 24 ноября 1941 года руководитель политического отдела рейхскомиссариата Остланда — Трампедах рекомендовал, во-первых, онемечить олатышенных немцев, каковых в Риге около 5 тысяч, а во всей Латвии — от 8 до 15 тысяч, а также потомков от смешанных браков между немцами и латышами, особенно в том случае, если они принадлежат к верхним или средним слоям городских жителей либо к интеллигенции. Латыши могли быть подвергнуты онемечиванию лишь при условии, если они в расовом отношении подобны германцам и политически симпатизируют немцам, то есть гитлеровцам (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-69, оп. 1а, д. 6, л. 156).

Осенью 1941 года в рейхскомиссариате Остланда были разработаны конкретные рекомендации по ассимиляции латышей. Анонимный автор этих циркуляров, возможно остзейский немец, советовал подвергнуть онемечению значительную часть латышского народа, ссылаясь на такой положительный пример, как онемечение пруссов. Однако он призывал не форсировать ассимиляцию, так как это вызвало бы сопротивление наиболее добропорядочных элементов. Национальные устремления латышей рекомендовалось направить в сторону этнографии и фольклора, чем герметически изолировать их от общественной жизни немцев. Для неонемеченных латышей должна все же существовать возможность добытия средств к существованию, получения начального и

среднего образования, однако в вузы следует принимать только немцев и тех, кто признает себя таковыми. Латыш-националу надо преградить дорогу на руководящие посты и к высшей административной карьере. «Расово нежелательных» латышей побуждать к выезду в Россию, давая им там возможность заниматься хозяйственной деятельностью (см.: «Мы обвиняем. Документы и материалы о злодеяниях гитлеровских оккупантов и латышских буржуазных националистов в Латвийской Советской Социалистической Республике в 1941—1945», Рига, издательство «Лиесма», с. 17—18, на латыш. яз.).

Развивая эту концепцию, Трампедах 19 мая 1942 года рекомендовал отправлять латышских студентов и школьников старших классов на трудовой фронт в Германию — так они смогут в будущем стать проводниками немецкого влияния среди латышской интеллигенции (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 12, л. 3).

20 августа 1942 года, то есть в то время, когда немецкая армия достигла значительных военных успехов, газета СС «Черный корпус», излагая точку зрения руководителя СС Г. Гиммлера, в принципе отвергла всякую ассимиляцию и призвала к размещению на завоеванных территориях сплошь чистокровных немцев («Мы обвиняем», с. 15 и 16). Эта позиция в точности соответствовала планам Гитлера германизировать территорию, а не население, ведь иначе негры и китайцы тоже смогут превратиться в немцев («Моя борьба», с. 428, 430).

На весьма авторитетном совещании 26 октября 1942 года, посвященном вопросам онемечивания народов Прибалтики, рассматривались три возможности германизации этого региона: 1) полностью воздержаться от онемечивания местного населения, 2) допустить индивидуальную ассимиляцию представителей прибалтийских народов, 3) допустить полное онемечивание народов Прибалтики. Официальное решение принято не было, но участники совещания в целом отрицательно отнеслись к третьему варианту, ибо лишь некоторая часть прибалтов обладает достаточно хорошими расовыми свойствами для того, чтобы их можно было подвергнуть онемечиванию (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-69, оп. 1а, д. 19, с. 94—96).

Пока оккупанты не пришли к единому мнению о качестве прибалтов, браки между немцами и представителями этих народов, за исключением, правда, последнего периода оккупации, были запрещены (см. передовую «Брак в Остланде» в номере «Немецкой газеты в Остланде» от 13 марта 1943 г.). В принципе оккупационными учреждениями осуждались и внебрачные интимные связи между немцами и прибалтами, поскольку в результате на свет могут появиться расово нежелательные немецкие дети, а также получить распространение венерические болезни (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 32, л. 1, 10—12). Многие видные сотрудники оккупационных учреждений, в том числе гебиткомиссар Земгале Медем, испрашивали, правда, разрешения немецким солдатам жениться на земгальских хозяйских дочерях, так как подобным способом в руках у немцев оказались бы важные экономические позиции в крае, но в оккупационном законодательстве это не нашло отражения.

Проекты колонизации Восточной Европы обрели конкретную форму в гитлеровском плане «Ост», которым предусматривалось в течение нескольких десятилетий колонизировать немцами обширные завоеванные территории. Сам план был уничтожен его авторами незадолго до окончательного разгрома Германии. Сохранилась, однако, переписка высших чинов о нем, заметки и другие материалы. Из этих материалов напрашивается вывод, что часть прибалтов — тех, кто в антропологическом отношении был подобен рекламируемой гитлеровцами «нордической» расе, предусматривалось онемечить, остальных — выслать в те из оккупированных районов Советского Союза, которые не подлежали заселению немецкими колонистами. Высланные могли бы подвизаться там в качестве управляющих низшего ранга, действующих от имени немецких оккупантов. По расчетам составителей планов, в таком случае гнев коренного населения обратился бы в первую голову против этих непосредственных угнетателей, а не против немцев («Нюрнбергский процесс», т. III, с. 137). По калькуляции Г. Гимmlера в ходе реализации плана вся Эстония и Латвия, а также Генерал-губернаторство (центральная Польша. — В. З.) были бы полностью онемечены за 20 лет (там же, с. 147—148). Детальный проект онемечивания Прибалтики разработал сотрудник рейхскомиссариата Остланда Мюллер (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-69, оп. 1а, д. 3, л. 150—167). Этот объемистый документ, разработка которого была завершена 17 ноября 1942 года и который был послан на обсуждение генеральным комиссарам 4 мая 1943 года, предусматривал превратить Ригу в главный немецкий опорный пункт в Прибалтике. Здесь имели бы право жить только немцы. От Восточной Пруссии до Риги через Литву и Земгале должна была протянуться обширная зона немецкой колонизации, откуда надлежало выселить всех инородцев и разместить около полумиллиона германских колонистов. К западу от этой зоны, то есть в Курземе, немцы могли оставаться лишь на положении сельскохозяйственных рабочих. Право же на земельные владения или на жительство в городах тут имели бы только немцы. К востоку от сплошной зоны колонизации немцы могли быть и сельскими хозяевами, и городскими жителями, но городские управы находились бы в руках исключительно немцев.

Главным преимуществом своего проекта Мюллер считал то обстоятельство, что он позволял обойтись минимумом немецких колонистов — размещение миллионов немцев на захваченных территориях привело бы к нехватке рабочей силы и, следовательно, хозяйственным затруднениям внутри самой Германии.

Несмотря на то, что окончательное решение об уничтожении прибалтийских народов и темпах колонизации Прибалтики еще не было принято, гитлеровцы уже с первых дней оккупации активно готовились к проведению соответствующих мероприятий и только военный разгром Германии уберечь народы Прибалтики от ассимиляции, утраты своего языка и культуры, перехода на положение второстепенных народов или же вообще исчезновения с лица земли.

Инструкция о разделении завоеванной территории Советского Союза на оккупационные зоны, или рейхскомиссариаты, была утверждена еще до начала войны —

8 мая 1941 года. Здесь впервые упоминается рейхскомиссариат Остланда, куда должны были войти республики Прибалтики и Белоруссия («Нюрнбергский процесс», т. 1, с. 209).

Иерархия и компетенция гражданских оккупационных учреждений были уточнены распоряжениями Гитлера от 29 июня и 17 июля 1941 года. В руки гражданской администрации, высшим органом которой было Министерство по делам оккупированных восточных областей (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete) с резиденцией в Берлине, предусматривалось передать все управление, кроме высшей полицейской власти, железных дорог и почты, — в тех областях, где военные действия были закончены (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 1, л. 41—42). Министром был назначен А. Розенберг.

Территория на левом берегу Даугавы отошла под юрисдикцию гражданского управления 30 июля 1941 года, а Латвия целиком — 1 сентября.

В рейхскомиссариат Остланда, с административным центром в Риге, входили Каунасский, Рижский, Ревельский (Таллинский) и Минский генеральные комиссариаты (т. е. Литва, Латвия, Эстония и Белоруссия), в свою очередь подразделявшиеся на областные комиссариаты. Территория Латвии была разделена на 6 областных комиссариатов: Рижский городской, Рижский сельский, Валмиерский, Лиепайский, Елгавский и Даугавпилсский. В Остланд были включены и некоторые районы РСФСР из состава Ленинградской, Псковской и Смоленской областей, однако там власть оставалась в руках военных комендантов, а из гражданских учреждений активно действовала, в основном, полиция.

Оккупанты старались избегать терминов «прибалтийские государства» или «Латвия, Литва и Эстония», заменяя их такими обозначениями, как «Остланд», «балтийские земли» и т. п. («Мы обвиняем», с. 28—29). Поэтому генеральные комиссариаты именовались по столицам, а не по названиям республик (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 50, л. 20), а сами республики — генеральными округами (Generalbezirken); интересующихся отсылаем к номеру «Немецкой газеты в Остланде» от 19 марта 1942 года.

Аппарат рейхскомиссариата, генеральных комиссариатов и гебитскомиссариатов комплектовался исключительно из подданных Германии немецкого происхождения, то есть государственных немцев. В январе 1943 года в гражданских административных учреждениях Остланда было занято 2504 государственных немца, из них в рейхскомиссариате Остланда — 555, в Рижском генеральном комиссариате — 237, в Таллинском — 198, в Минском — 365, в Каунасском — 360, остальные — в гебитскомиссариатах (данные из речи Г. Лозе на совещании областных комиссаров 22 января 1943 года; см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 50, л. 20).

Организации НСДАП своего параллельного аппарата не создавали, и руководители оккупационных гражданских властей — рейхскомиссары, генеральные комиссары и гебитскомиссары — осуществляли личную унию, то есть выполняли и функции представителей фашистской партии («Немецкая газета в Остланде», 21 августа 1941 г.). Железная дорога и почта, согласно распоряжению Гитлера от 17 июня 1941 года, были под-

чинены соответствующим германским министерствам, а полицейские учреждения — руководству СС (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 1, л. 18).

Наряду с учреждениями административного управления оккупанты покрыли всю Латвию сетью своих судов и прокуратур. 6 сентября 1941 года по приказу рейхскомиссара Остланда Г. Лозе были основаны немецкие суды и прокуратуры, обладавшие исключительным правом рассмотрения дел, в которых были замешаны государственные немцы или вообще немцы («принадлежащие к немецкому народу»), однако по указанию рейхскомиссара могло рассматриваться и любое другое дело. Суд вершился по германскому уголовному и уголовно-процессуальному законодательству, но циркуляром предусматривалась и возможность отступления от этих уложений, коль скоро это было в интересах скорейшего решения дела. Позднее были созданы и немецкие Особые суды, перед ними представляли в основном участники антифашистской борьбы. С 30 января 1942 года, согласно распоряжению А. Розенберга от 12 января, на территории рейхскомиссариата Остланда действовали Чрезвычайные суды, состоявшие из одного полицейского офицера или ээсовского чина в качестве председателя и двух подчиненных ему участковых. Эти суды приговаривали к смертной казни, конфискации имущества, могли передать обвиняемого полиции безопасности, направить дело в особый суд или оправдать обвиняемого. Приговоры «троек» обжалованию не подлежали. Чрезвычайные суды созывались генеральными комиссарами либо другими учреждениями по их указанию. Государственные немцы и немцы вообще под юрисдикцию чрезвычайных судов не попадали («Мы обвиняем», с. 45—47).

В период оккупации возобновили работу и местные суды, но права их были сильно урезаны. Генеральный комиссар мог изъять любое дело из компетенции латышского суда даже после вынесения приговора и передать для рассмотрения в немецкий суд (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-1018, оп. 1, д. 1, л. 32).

Полицейский аппарат на оккупированных советских территориях, согласно приказу Гитлера от 17 июля 1941 года, находился в двойном подчинении. Высшая полицейская власть была сосредоточена в руках рейхсфюрера СС и начальника германской полиции Гимmlера, однако начальники СС и полиции в рейхскомиссариатах, генеральных комиссариатах и гебитскомиссариатах были непосредственно и лично подчинены соответствующим комиссарам (ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 1, л. 18).

Фактически полицейские учреждения все же больше считались с распоряжениями высших ээсовских чинов, чем немецкого гражданского управления. Это не раз приводило к острым разногласиям между различными оккупационными учреждениями. Подчас возникали конфликты и между различными полицейскими ведомствами, например командирами СС и СД, главным образом по вопросу о том, кто наделен большими полномочиями. Полицейский произвол в отношении мирного населения не ограничивался никакими законами. Более подробно правовое положение оккупированных областей, а точнее их бесправи-е, «расписано» в циркуляре А. Розенберга от 17 февраля 1942 года. Смертная

казнь, а в более легких случаях тюремное заключение жителям оккупированных территорий грозили не только за противодействие оккупационным властям и отдельным сотрудникам соответствующих учреждений, но и за унижение достоинства германского государства или немецкого народа, за порчу имущества государственного немца либо лица, принадлежащего к немецкому народу, за недонесение и т. п. Распоряжением предусматривалась и смертная казнь для несовершеннолетних («Мы обвиняем», с. 48—49).

Гебитскомиссары имели право накладывать 6 недель ареста или штраф до 1000 марок — в административном порядке, без суда.

Государственная Чрезвычайная комиссия по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков и их подручных на территории Латвийской Советской Социалистической Республики, работавшая с 23 августа 1944 года по 27 июля 1945 года, установила, что в период оккупации на территории Латвии в различное время имелось 46 тюрем, 23 концлагеря и 18 гетто — всего 87 мест заключения (см.: «В дни войны. Из истории Латвии периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» Издательство АН Латвийской ССР, Рига, 1964, с. 91, 96). Комиссия констатировала, что фашистские оккупанты и их прихвостни убили в Латвии 135 тысяч мирных жителей. Большинство из них было привезено из других стран Европы, но было среди них и почти 100 тысяч граждан Латвийской ССР, в том числе около 85 тысяч латвийских евреев. Кроме того в республике было убито и замучено свыше 330 тысяч советских военнопленных. В период оккупации за антифашистскую деятельность было арестовано около 20 тысяч жителей Латвийской ССР.

Что подчас удерживало немецких фашистов от реализации ряда своих зловещих целей? Только одно — боязнь того, что гнев народных масс по отношению к оккупантам приведет к взрыву. Так, например, не были претворены в жизнь угрозы гитлеровцев за каждого уничтоженного немецкого солдата в Лиепае расстрелять 100 латышей (см.: «Курземес Вардс», № 6 от 8 июля 1941 г.). Нет также сведений о том, что где-либо в Риге исполнялся циркуляр рижского комиссара путей сообщения от 20 февраля 1942 года о телесных наказаниях туземных железнодорожников за нарушения дисциплины («Мы обвиняем», с. 197).

Чтобы по возможности воспрепятствовать формированию сплоченного движения сопротивления, оккупанты старались поделить жителей Латвии на неодинаковые в правовом отношении группы, главным образом по национальному признаку. Самым беспощадным образом подавлялись и преследовались в период оккупации евреи. Уже в первые ее месяцы в Латвии без суда и следствия было истреблено около 30 тысяч евреев. Осенью 1941 года в рижское, лиепайское и даугавпилсское гетто было согнано более 40 тысяч евреев (там же, с. 64). Территорию Латвии гитлеровцы избрали также для массового уничтожения евреев других европейских стран — Чехословакии, Австрии, Венгрии, Франции, Польши и др. (там же, с. 155—160). Оккупационные власти разработали дотошнейшие предписания: что можно и чего нельзя евреям, а также инструкции, как к ним относиться. Хотя после того, как большая

часть евреев была уничтожена, эти права имели ничтожное практическое значение, в них как в зеркале отразилось стремление нацистов унижить достоинство людей другой нации, превратить их в бессловесных рабов. Так, например, евреи были обязаны носить на груди и спине нашивки в виде шестиконечной желтой звезды, им воспрещалось менять место жительства, ходить по тротуарам, пользоваться транспортными средствами, находиться в парках и на спортплощадках, посещать кинотеатры, театры, библиотеки и музеи, а также школы любого типа. Евреи не могли быть владельцами транспортных средств и радио-приемников и т. п. (газ. «Тэвия» от 1 сентября 1941 г.). На все движимое и недвижимое имущество, принадлежавшее евреям, согласно распоряжению рейхскомиссара Лозе от 13 октября 1941 года, был наложен арест. Оставлялась только «часть предметов домашнего обихода, служащая для непритязательной личной жизни» и деньги в сумме до ста марок («Мы обвиняем», с. 60). Особые правила существовали для евреев, согнанных в гетто. Узники гетто не имели права пользоваться телефоном и почтой ни для общения между собой, ни для связи с окружающим миром. Весь скот, принадлежавший обитателям гетто, подлежал изъятию и т. п. (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-69, оп. 1а, д. 6; л. 73). Подобную, хотя и менее последовательную, политику геноцида оккупанты проводили на территории Латвийской ССР против цыган. В письме высшему начальнику СС и полиции в Риге, отправленном рейхскомиссаром Лозе 4 декабря 1941 года, рекомендуется обращаться с цыганами точно так же как с евреями (там же, л. 296). В осуществление такого указания в различных районах Латвии было расстреляно, в нецентрализованном порядке, несколько сот цыган («Мы обвиняем», с. 166—168). В последующем отношении оккупантов к оставшимся в живых цыганам несколько изменилось. С 1943 года к евреям в правовом отношении приравнивались только бродячие цыгане, а оседлые — к остальному населению (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-69, оп. 1а, д. 2, л. 299; там же, д. 6, л. 249). Оккупационные власти в первые годы оккупации очень тщательно следили за тем, чтобы на территорию Латвии не проникали граждане других союзных республик (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-69, оп. 1а, д. 7, л. 14), а советские граждане, прибывшие сюда в 1940—1941 годах, арестовывались.

Известными привилегиями в оккупированной Латвии пользовались немцы, особенно государственные, то есть германские подданные. Как уже говорилось, только они и могли работать в высших органах оккупационной власти.

В то же время специальные распоряжения верховных государственных учреждений требовали уделять особое внимание всем тем, кто был причислен к немецкому народу. А ими были, по циркуляру Розенберга от 23 августа 1941 года, немцы по происхождению, языку, поведению (!), воспитанию и прочим обстоятельствам. Хотя в будущем намечалась проверка этих лиц и их учет, на практике немцами считались те, кого признал таковыми соответствующий гебитскомиссар (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 1, л. 21). Всем оккупационным учреждениям, а также воинским частям временно в обязанность относилось к про-

живающим на оккупированной советской территории лицам немецкой национальности доброжелательно и дружелюбно, оказывать им необходимую помощь, и прежде всего в укреплении контактов с Германией (см. циркуляр А. Розенберга от 13 апреля 1942 г. в ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 5, л. 191—194). Государственные немцы и лица, относящиеся к немецкому народу, подчинялись лишь немецкой администрации и немецким судам. Они обладали не только юридическими, но и экономическими привилегиями, например в организации торговых предприятий. На службе и во время отдыха, в поездах и в отелях немцев всячески выделяли среди прочих, они пользовались дополнительными удобствами и услугами.

Гитлеровцам, однако, пришлось считаться с конкретной ситуацией в Латвии и под ее влиянием внести в свои планы или по меньшей мере в темпы их реализации известные коррективы. Не дождавшись победоносного блицкрига, а вместо этого очутившись перед лицом тяжелых поражений гитлеровской армии на советско-германском фронте, оккупанты вынуждены были — из опасения активного сопротивления почти всех слоев общества — отложить проекты колонизации в долгий ящик. Но коррективы в первоначальные планы вносились неохотно и непоследовательно. Одна из проблем, в виду которой оккупационным властям пришлось пойти на ряд непоследовательных изменений в первоначальных планах оккупации и колонизации региона, были отношения с латышской буржуазией, интеллигенцией и административными работниками из числа латышей. Отношение немецких учреждений к хозяйственной и политической активности жителей Латвии было двояким. С одной стороны, немцы стремились использовать вызванный сталинскими репрессиями антисоветский настрой большей части населения Латвии в борьбе с антифашистским движением, а впоследствии и для призыва латышской молодежи в немецкую армию. Без подобных настроений, порожденных сталинским террором, который к тому же без устали «освежала» в памяти народа нацистская пропаганда, оккупанты не смогли бы при сравнительно небольших усилиях поставить хозяйственные ресурсы Латвии на службу своему военному ведомству. С другой стороны, оккупанты, ни на минуту не забывая о планах колонизации Латвии, допускали активность местных жителей лишь в крайне узких пределах, в основном в хозяйственной области. Политическая деятельность латышской буржуазии и других социальных слоев в масштабах Латвии ими не допускалась, деятельность бывших политических партий была запрещена, наиболее известных партийных функционеров ставили под надзор (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-69, оп. 1а, д. 2, л. 392), хотя репрессии против них применялись только изредка (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 2, д. 150, л. 6—7).

Уже в первые дни оккупации, нередко даже до прихода немецких войск в тот или иной латвийский город, в ту или иную волею, там возобновлял работу досоветский административный аппарат («В дни войны», с. 89). Во многих случаях волостные, городские и уездные управления вновь возглавляли чиновники и полицейские периода Латвийской Республики, но вскоре они были подчинены

немецким военным комендантам, а затем гражданским властям. Все персональные изменения в уездных правлениях и управлениях наиболее крупных городов проводились с ведома и по распоряжению немецких учреждений. Буржуазия при поддержке оккупантов беспощадно расправлялась с активистами советской власти, особенно с теми, кто участвовал в депортациях и иных сталинских акциях террора и не успел эвакуироваться. Кровавый террор гитлеровцев и их пособников не уступал сталинскому. Гитлеровцы не допускали консолидации власти латышской буржуазии или других кругов латышской общечественности в масштабах всей Латвии, разгоняли и не признавали никаких комитетов, которые были сформированы на радостях в первые недели оккупации латышскими политиками. Лишь с тем фактом, что в средних и низших звеньях администрации — уездных, волостных и городских правлениях, в аппарате ряда хозяйственных ведомств — работали прибалты, оккупантам пришлось смириться. Вопрос о введении немецкого управления во всех звеньях, сверху донизу, неоднократно обсуждался, но проекты все откладывались по недостатку сил. 24 октября 1941 года чиновник министерства оккупированных восточных областей П. Клейст составил меморандум, в котором констатировалось, что повсеместное введение немецкого управления в рейхскомиссариате Остланда потребует большого числа немецких чиновников высшего, среднего и низшего рангов и поначалу около 120 тысяч немецких полицейских. К тому же в снижении жизненного уровня местного населения в таком случае станет вносить немецкие власти и никого другого (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 2, л. 19—20). Поскольку немецкие учреждения слабо владели обстановкой в Прибалтике, а на деятельность местных политиков и чиновников были наложены пути, работа оккупационных учреждений отличалась несогласованностью и малой эффективностью. Но верхи фашистской Германии не спешили принимать меры по изменению структуры управления, рассчитывая в ближайшем будущем провести колонизацию Прибалтики. С довольно большим рвением местных чинов в борьбе с советскими активистами оккупанты, конечно, соглашались, недостаток же хозяйственной оперативности старались компенсировать трудовой повинностью, удлинением рабочего дня и резким снижением жизненного уровня населения. После разгрома под Москвой гитлеровцам пришлось отложить свои планы колонизации региона и подумать о более полном использовании материальных и человеческих ресурсов оккупированных территорий, а также о подавлении растущего сопротивления народных масс. В этих обстоятельствах они передали хозяйственные и ряд вопросов местного значения латышским коллаборационистам, оставив за собой высшее руководство и контроль. Распоряжение А. Розенберга о проведении подобной перестройки было опубликовано 19 марта 1942 года в «Немецкой газете в Остланде» и официально именовалось установлением самоуправления народов Прибалтики. Чтобы избежать однообразия в наименовании различных коллаборационистских ведомств и бонз, оккупанты называли руководителей литовского самоуправления генеральными советниками (Generalräte), латвийско-

го — генеральными директорами (Generaldirektoren), эстонского — крайними директорами (Landesdirektoren). Правом назначать и увольнять руководителей самоуправления пользовались только немецкий генеральный комиссар, он же решал все важнейшие вопросы (см. упомянутую газету от 10 мая 1942 г.). Главным критерием оценки работников самоуправления было доверие генкомиссара, перечить ему было немислимо.

Каждый руководитель самоуправления (в Латвии — генеральный директор) ведал определенной отраслью и отвечал за нее перед немецким генеральным комиссаром. Генеральный директор внутренних дел считался «номером первым» и представительствовал за все самоуправление. По согласованию с генеральным комиссаром он распределял функции остальных генеральных директоров, но не числился их начальником и не мог отстранить их от должности, а подобно им был всего лишь уполномоченным генерального комиссара. Самоуправление не имело права принимать коллегиальные решения.

В систему самоуправления входили городские (кроме Риги), уездные и волостные правления. Общее руководство местными административными учреждениями осуществлял генеральный директор внутренних дел. Местные учреждения получали распоряжения и от соответствующего областного комиссара, который самоуправлению, разумеется, не подчинялся.

Администраторы и чиновники, назначенные генеральным комиссаром, Ригой управляли непосредственно, не считаясь с самоуправлением. Рижская городская управа была единственным органом власти в Латвии, где работали бок о бок немецкие и латышские чиновники (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-1018, оп. 1, д. 2, л. 190).

В конце 1942 — начале 1943 года перед лицом военных неудач германской армии в рейхскомиссариате Остланда и в министерстве оккупированных восточных областей стали обсуждаться проекты дальнейших административных реформ. В некоторых предусматривалась большая автономия для местных коллаборационистов, превращение Латвии в вассальное государство, наподобие Словакии, и провозглашение латышей родичами немцев в расовом отношении (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 2, л. 157—159). Этот компромисс идеологически оправдывался тем, что без немецкой защиты латышскому народу грозит гибель от большевистского террора. Подобные меры, по замыслу их инициаторов, могли бы высвободить для других дел множество чиновников немецких учреждений и облегчили бы мобилизацию всех материальных и человеческих ресурсов края для нужд германской военной машины. Однако, поскольку планы колонизации Латвии все еще не были оставлены, высшее гитлеровское руководство не допустило усиления местных органов власти. К тому же немецкие фашисты не доверяли латышским чиновникам (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-1018, оп. 1, д. 2, л. 184). Руководитель политического отдела рейхскомиссариата Остланда все тот же Трампедах в своих примечаниях к проекту административных реформ предупреждал, что, укрепляя самоуправление, немцы содействуют сплочению своего врага (там же, л. 249).

В марте 1943 года, когда некоторые круги местных коллаборационистов пытались выпросить большую автономию для прибалтийской буржуазии, Трампедах приказал распространить с помощью полицейских агентов и по другим каналам слух о том, что международное право не допускает изменения юридического статуса оккупированных территорий до окончания войны (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 51, л. 186). В то же время обсуждались и совершенно противоположные проекты — децентрализовать управление, укрепить аппарат областных комиссаров, и создать в Латвии три сепаратных областных правления, а Ригу из этой системы полностью вывести (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. 1018, оп. 1, д. 2, л. 179, 250). Целесообразность подобных преобразований их авторы обосновывали тем, что надо изолировать село и провинциальные города от духовного влияния латышской интеллигенции, тормозящего успешное проведение оккупационной политики. С особым усердием это доказывал земгальский комиссар Медем. Но и этот проект остался на бумаге, так как другие оккупационные учреждения опасались, что такая перестройка дезорганизирует хозяйственную жизнь и подорвет снабжение фронта.

Повисло в воздухе и предложение учредить смешанные немецко-латышские органы власти под началом немцев, где латыши выполняли бы техническую работу, как это имело место в Рижской городской управе (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-1018, оп. 1, д. 2, л. 190). На это у оккупантов не хватало квалифицированных сотрудников.

Описанная нами форма административного управления существовала до лета 1944 года, когда началось изгнание немецких фашистов с территории Латвии. 26 сентября Лозе был смещен с поста рейхскомиссара Остланда. Вскоре вся административная власть в оккупированной части Латвии перешла в руки военных комендантов.

Остались нереализованными и первоначальные экономические планы оккупантов. Детали этих замыслов неоднократно менялись с целью максимального использования хозяйственных ресурсов Латвии для укрепления германской военной машины.

Уже с первых дней оккупации, но в особенно больших масштабах и систематически с августа 1941 года происходила реквизиция богатств латвийского сельского хозяйства, и прежде всего скота, для нужд немецкой армии, а также гражданского населения Германии («Мы обвиняем», с. 258—259). В последующем аппетиты грабителей только возрастали. 1 декабря 1942 года Г. Геринг отдал распоряжение А. Розенбергу, требуя, в частности, отправки максимального количества сельскохозяйственных продуктов немецкой армии и германскому государству и сокращения до минимума туземного потребления (там же, с. 251).

Осенью 1941 года латвийское народное хозяйство было интегрировано в хозяйственную жизнь Германии. Переняв бразды правления, немцы сразу же приступили к всеобъемлющему грабежу, в первую очередь важнейших материалов и сырьевых запасов. Официальной санкцией на это стала директива Геринга рейхскомиссару Остланда от 27 июля 1941 года (там же, с. 252—253). В после-

дующем для расхищения хозяйственных ресурсов Латвии оккупанты создали специальное монопольное объединение и подключили филиалы крупных немецких монополий (там же, с. 253, 257). В 1944 году, в связи с приближением фронта, на первый план вновь выступили непосредственные реквизиции.

Хозяйственная политика оккупантов в Латвии носила явный грабительский характер. Все имущество государственных и общественных организаций, по распоряжению Г. Лозе от 18 августа 1941 года, отходило гражданским оккупационным властям или армии («Мы обвиняем», с. 33).

Оккупанты отменили проведенную в 1940 году Советской властью земельную реформу. Выделенные земельные наделы были возвращены прежним владельцам, а крестьяне, у которых изымалась земля, в новосозданных крупных хозяйствах становились сельскохозяйственными рабочими (там же, с. 51—54). Правда, Г. Лозе 13 сентября дал поблажку тем, кто хотел бы повысить продуктивность земли — такие крестьяне могли сохранить наделы за собой. Практически этой уступкой не пользовались, так как возможные споры разрешались волостными и уездными старостами, а те не питали дружеских чувств к «наделенцам» 1940 года, да и созданные тогда новые хозяйства жизнеспособностью не отличались, а были всего лишь переходной формой на пути к колхозам. Что касается национализированных в советский год предприятий и крупных домовладений, то их оккупанты объявили военной добычей и в большинстве случаев прежние владельцы остались с носом.

16 декабря 1941 года на территории Латвии была объявлена всеобщая трудовая повинность. Каждый трудоспособный человек обязан был выйти на работу. Уволиться можно было лишь с согласия комиссара Трудовой управы соответствующей области. За несоблюдение этих правил грозил денежный штраф или тюремное заключение.

10 февраля 1942 года сотрудник Рижского генерального комиссариата Борке издал распоряжение, по которому в мелких хозяйствах (до 3 га сельхозугодий) мог числиться занятым только один человек в возрасте от 15 до 60 лет, в хозяйствах с 3—6 га используемых земель — двое, с 6—10 га — трое и т. д. Избыток трудоспособного населения привлекался в качестве сельскохозяйственных рабочих в тех крупных хозяйствах, где не хватало рабочей силы. Школьники во время летних каникул обязаны были работать в сельском хозяйстве. На летних каникулах 1943 года на селе трудилось свыше 3600 латышских студентов.

Насильственное вовлечение молодежи оккупированных территорий, в том числе и латышской, в гитлеровскую армию тоже было непосредственным шагом с точки зрения идеологии немецкого фашизма. Если следовать букве и духу нацистских концепций, то вооружение людей «нижней расы» является тяжким преступлением. Но жизнь заставляла поступать по принципам, сначала одним, потом другим, третьим... Отодвинуть поражение в войне было важнее.

В первые месяцы Великой Отечественной войны, когда фашисты еще рассчитывали на легкую и скорую победу, «инородцам» носить оружие было запрещено, каких бы политических взглядов

и симпатий те ни придерживались. Допускалось лишь существование небольших полицейских и палаческих групп, кстати плохо вооруженных. Но после неудач на фронте, особенно с осени 1942 года, фашистская армия стала остро нуждаться в пополнении. И тут оккупационные власти задумались об использовании прибалтов в качестве пушечного мяса. Генеральный комиссар Риги Дрекслер в своем письме рейхскомиссару Остланда от 3 декабря 1942 года утверждал, что было бы целесообразно поставить под ружье в немецкой армии 100 тысяч латышей и тем самым освободить от мобилизации 100 тысяч немцев. Это, по его мнению, улучшило бы баланс рабочей силы в Германии и позволило сэкономить «ценную немецкую кровь» (см.: ЦГА ЛатССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 51, л. 131).

Международным правом призыв в армию населения оккупированных территорий не допускается. Хотя гитлеровцы с юридическими нормами вовсе не считались, иногда они их все же соблюдали ради формы, особенно если это не требовало большого труда. Поэтому фашистские администраторы и публицисты расписывали формирование, комплектование из числа местных жителей, не как регулярные части, а как «добровольческие легионы». Фактически же шла принудительная вербовка в фашистскую армию («Мы обвиняем», с. 233, 234, 241, 245). Прикрытием незаконной мобилизации служили органы местного самоуправления, хотя они не были наделены никакими государственными функциями и, следовательно, не имели права проводить мобилизацию. Юридическим предлогом основания латышского легиона СС было утверждение, что «фюрер Великой Германии дал согласие на основание легиона СС из латышских добровольцев» («Мы обвиняем», с. 231). Другого не требовалось.

Ничего не говорилось о том, просил ли кто у вождя этого согласия, и если да, то кто и зачем. Подобное заявление о воле фюрера с государственно-правовой точки зрения было незаконным, более того, и формально оно не может считаться документом — никто его не подписывал, никто не удостоверял его аутентичность. Но подобная формулировка была на руку оккупантам — тут уж они могли действовать по своему усмотрению, не неся никакой ответственности за последствия своих действий.

В период оккупации была прекращена деятельность легальных общественных организаций, а разрешенные немцами организации и общества в той или иной мере служили закабалению или одурманиванию населения. Запрещена была, разумеется, деятельность компартии и других организаций трудящихся. Соответствующее распоряжение, опубликованное 20 сентября 1941 года, носило декларативный характер, так как почти все коммунисты и активисты организаций трудящихся, не успевшие эвакуироваться или уйти в подполье, к тому времени были уже убиты либо арестованы. Однако, пользуясь упомянутым распоряжением, полицейские учреждения терроризировали прогрессивно настроенных людей — каждого из них можно было обвинить коммунистом.

Немногие разрешенные организации формировались путем назначения, а не выборов. Очень активно действовала в

период оккупации Народная помощь, ее устав генеральный комиссар Риги утвердил 30 октября 1941 года. В оккупационной печати она изображалась как филантропическое общество. Оно и взяло на себя ряд функций, за которые фактически следовало бы отвечать учреждениям социального обеспечения. Оккупанты не желали тратить ни средств, ни энергии на эти цели и потому охотно перелагали ответственность за ухудшение ситуации на местные учреждения. Филантропию почитали за самый безвредный вид общественной активности населения. Но Народная помощь куда активнее, чем социобеспечение, занималась антисоветской пропагандой, а также сбором обязательных «пожертвований» для гитлеровской армии. Так, например, зимой 1941—42 годов активисты этой организации в одной только Земгале собрали от жителей и передали в фонд немецкой армии 86 тысяч предметов теплой одежды («Тэвия», № 4 от 6 января 1942 г.). Той же зимой в Риге Народная помощь конфисковала у населения под видом пожертвований 50 тысяч килограммов цветных металлов, все это пошло военной промышленности гитлеровцев («Немецкая газета в Остланде» от 28 марта 1942 г.). В 1944 году, когда армия фашистской Германии отступала, Народная помощь организовала отезд как можно большего числа жителей Латвии в тыл германской армии и в Германию.

Начиная с 1943 года в оккупированной Латвии возобновила свою деятельность военнизированная организация времен Латвийской Республики — айзсарги. С приходом советской власти отряды айзсаргов были расформированы, а их члены физически истреблялись. Поэтому уже в первые дни войны, а в отдельных случаях начиная с депортации 14 июня 1941 года, айзсарги вступили на путь вооруженной борьбы с советской властью, особенно с ее карательными органами. Часть айзсаргов в первые дни оккупации участвовала в акциях террора против советских активистов. Несмотря на это, 9 июля 1941 года немецкие военные власти запретили организацию айзсаргов, а их самих разоружили, не желая видеть на занятой территории еще одну военную силу. Однако в 1943 году, когда фашистская армия терпела на фронте тяжелые неудачи, а в Латвии оживилось антифашистское подполье, гитлеровцы сочли за благо возобновить деятельность айзсаргов.

В период оккупации организация айзсаргов как по своему составу, так и по характеру своей деятельности заметно отличалась от прежней, хотя и переняла ряд былых форм организации и методов работы. Айзсарги не были больше самостоятельной политической силой, как в Латвийской Республике, а только одной из составных частей оккупационной полиции. Поэтому многие айзсарги до советского времени уклонялись от участия в работе возобновленной организации.

В 1942 году немецкие оккупационные учреждения и латышские коллаборационисты не раз и не два обсуждали вопрос о создании фашистской латышской молодежной организации по образу и подобию гитлерюгенда. Такая организация и была создана 17 августа по распоряжению Дрекслера (см.: «Мы обвиняем», с. 233), однако число ее членов было ничтожным. Зная настроения латышской

молодежи, оккупационные учреждения опасались, что подобная молодежная организация может выйти из-под их контроля, поэтому отнюдь не содействовали ее численному росту. В свою очередь широкие слои латышской молодежи бойкотировали это начинание оккупантов.

В конце 1943 года немцы попытались создать латышскую фашистскую буржуазную организацию «Лидумниеки», которая объединила бы в своих рядах всех коллаборационистов и проповедовала в народе идею сотрудничества с оккупантами (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-69, оп. 1а, д. 2, л. 555). Но и это общество не нашло отклика в широких кругах общественности, состояла в нем кучка лиц, отобранных полицией безопасности, и просуществовало оно недолго.

В период оккупации заметное оживление наблюдалось среди религиозных организаций и сект. Оккупанты смотрели на это благосклонно (если не считать, конечно, иудаизма), они видели в религиозной идеологии средство борьбы с влиянием марксизма. В начале 1943 года на территории Латвии действовало 277 лютеранских, 221 католических, 153 православных, 89 староверческих, 104 баптистских, 27 адвентистских, 17 методистских общин и приходов и ряд мелких сект. Запрещена была деятельность только тех сект, которые находились у оккупантов на подозрении в связях с английскими и американскими церквями (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-69, оп. 1а, д. 19, л. 19). Единственным ограничением деятельности религиозных организаций был запрет на устройство шествий, за исключением похоронных процессий, так как оккупанты пуще огня боялись, что религиозные процессии могут вылиться в антифашистские политические демонстрации (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-69, оп. 1а, д. 2, л. 392—393).

Оккупационные учреждения установили мелочную опеку над спортивными обществами, всяческой дискриминации подвергались спортсмены-немцы. Зато поощрялись занятия спортом государственных немцев и лиц, принадлежащих к немецкому народу (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-69, оп. 1а, д. 19, л. 375). Спортивные организации, основанные в

год советской власти, были ликвидированы, зато получили разрешение возобновить свою деятельность общества периода Латвийской Республики. Однако, согласно инструкции, направленной 26 мая 1942 года политическим отделом рейхскомиссариата Остланда генеральным комиссарам, спортсмены-немцы не имели права заниматься такими видами спорта, которые имеют военное-прикладное значение: стрельбой, туризмом, парусным спортом (там же, с. 376).

Оккупационные учреждения следили за тем, чтобы представители народов, проживающих на оккупированных территориях, не установили между собой неподконтрольные контакты, и потому препятствовали проведению состязаний между спортсменами разных наций. Хотя летом 1942 года и состоялся ряд футбольных матчей между латышами и эстонцами, («Тэвия», 21 августа 1942 г.), власти не допустили проведения состязаний по другим видам спорта, ссылаясь на транспортные затруднения. Когда летом 1942 года эстонские баскетболисты выразили готовность поехать в Ригу хоть на велосипедах, последовал формальный запрет и рекомендация приложить избыток энергии к сельскохозяйственным или лесным работам.

Жители Латвии испытывали разного рода дискриминацию со стороны оккупантов, сносили всяческие унижения. «Туземцев» не пускали в лучшие магазины и отели, по рекомендации самого Гитлера в пассажирских поездах им отводились отдельные вагоны, и то всего лишь несколько. Зимой 1942—43 года в Лиенае немецкие солдаты ездили в закрытых трамвайных вагонах, а матери с маленькими детьми — на открытых платформах (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-83, оп. 1, д. 24, л. 57).

Ущемлялись латышский язык и культура. Ведущие оккупационные учреждения, согласно распоряжению рейхскомиссара Остланда Г. Лозе от 18 августа 1941 года, функционировали только на немецком языке (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-1018, оп. 1, д. 1, л. 34). Циркуляром министерства по делам оккупированных восточных областей, разосланным 4 июня 1942 года, определялось, что сотруд-

ники немецких оккупационных учреждений не обязаны знать и изучать языки народов Прибалтики, поскольку предполагается, что вскоре все жители этой территории будут говорить по-немецки (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 5, л. 150).

Циркуляр того же министерства уже 7 марта 1942 года устанавливал, что переговоры и переписка между немецкими и латышскими учреждениями могут вестись только на немецком языке. Лишь при контактах латышских учреждений между собой в качестве официального языка может употребляться как латышский, так и немецкий (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-1018, оп. 1, д. 1, л. 34). В оккупированной Латвии, по меткому замечанию писателя Я. Ниедре, «родному языку латышей указано место под кроватью» («Циня», № 14 от 8 мая 1942 г.).

Оккупанты переименовывали улицы латвийских городов, давая им названия в честь разных фашистских государственных деятелей или немецкий шовинистов. Так, в Риге бульвар Райниса стал «кольцом Альфреда Розенберга», улица Лачплесиса — Карла Ширрена, улица Кр. Валдемарса — Герингштрассе и т. п. Во многих местах таблички с названиями улиц и дорожные указатели исполнялись только на немецком языке. Войдя в раж, командир 291-й пехотной дивизии вермахта генерал-лейтенант Герцог предложил рейхскомиссариату Остланда называть главные улицы в Лиенае и Нарве его, генерала Герцога, именем (см.: ЦГИА ЛатвССР, ф. Р-70, оп. 3, д. 63, л. 6), и только трения между различными оккупационными ведомствами помешали осуществлению плана честолюбивого завоевателя.

Министерство оккупированных восточных областей приказало 21 августа 1942 года рейхскомиссару Остланда Г. Лозе прекратить подготовку литовских, латышских и эстонских студентов к научной работе, а также запретило фактически исследовательскую деятельность профессоров и преподавателей гуманитарных факультетов («Мы обвиняем», с. 70, 71).

Перевел ЛЕОНИД ГУРЕВИЧ

АНДРИС БЕРГМАНИС РАЗМЫШЛЯЯ ОБО ВСЕМ, ЧТО НАШЕ

11 июня прошлого года во время 3-го фольклорного фестиваля один молодой парень с цесисской эстрады заявил примерно тысяче человек, что он **вынужден** эмигрировать за границу. Я, будучи одним из ведущих митинга-концерта, без малейшего лицемерия сказал, что, если бы мне довелось выбирать между эмиграцией и своей латвийской тюрьмой, я бы предпочел последнюю.

В июле парень эмигрировал.

У меня, слава Богу, не было возможности доказать на деле сказанное тогда с эстрады, но все же...

28 июля 1988 года издается приказ министра внутренних дел СССР № 164. Им утверждается инструкция о порядке, по которому осужденные к лишению свободы направляются из одного исправительно-трудового учреждения в другое, а также порядок, по которому пересылаются в другие районы лица, условно освобожденные из мест лишения свободы и условно осужденные на лишение свободы (с обязательным привлечением к труду).

Само собой разумеется, что этот приказ, как и все идущие «из центра», распространяется и на нашу республику. Суть инструкции такова: если твое прегрешение перед законом не слишком опасно и ты получаешь только условное наказание, то стражи порядка имеют полное право отправить тебя отбывать условное наказание хоть за полярный круг. Более того — если ты, находясь в заключении, хорошо работаешь и старательно выполняешь все правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, то тебя ждет высокая «милость» законодателей и правоохранителей — тебя условно освободят, с правом и обязанностью отправиться на экскурсию к белым медведям. И наоборот — если кому-нибудь на широких просторах нашей Родины покажется, что Латвия является самым подходящим местом для отбывания наказания группы условно осужденных, то соответствующим работникам придется гарантировать этой группе условия труда и быта.

Хотя...

Статья 6 «Исправительно-трудового кодекса ЛССР». «Места отбывания наказания», тут сказано следующее: «В соответствии со статьей 6 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик:

лица, впервые осужденные к лишению свободы, проживавшие до ареста или осуждения на территории Латвийской ССР, отбывают наказание, как правило, в пределах Латвийской ССР. В целях более успешного исправления и перевоспитания осужденных, они могут быть направлены для отбывания наказания в соответствующие исправительно-трудовые учреждения другой союзной республики по порядку, который определяет МВД СССР, по согласованию с Прокуратурой СССР (Указ Президиума Верховного Совета ЛССР от 21. 12. 87 г.).

Следовательно...

6-я статья все же дает хотя бы минимальные гарантии того, что правонарушитель сможет остаться на своей этнической территории, если он впервые настолько согрешил, что суд присудил его к лишению свободы. Для преступника остаться на своей этнической территории означает многое — чаще контакт с близкими, хотя и минимальная, но все же возможность употреблять родной язык, иногда слушать радио и смотреть телепередачи на родном языке. Условно осужденный или освобожденный этого может быть лишен.

Хотя...

Шестая статья, как большинство принятых статей, законов, инструкций, предусматривает исключения, и если кто-нибудь посчитает, что осужденного «успешнее исправит и перевоспитает» дух какой-нибудь другой республики, то последний может собирать свои скудные тюремные пожитки и отправляться в места более отдаленные.

Очевидно, что юноша, которому я так высокопарно ответил в Цесисе, не был знаком с тонкостями нашего законодательства.

Я убежден, что, если ему там, «за бугром», довелось познакомиться с обоими вышеупомянутыми документами, то он теперь ухмыляется по поводу моей сулперпатриотической фразы в Цесисе.

Обратимся к родной Латвии, которая в последнее время приобрела второе название — «наш общий дом». Да, больше года прошло с тех пор, как Латвия стала общим домом для изрядного числа особо опасных рецидивистов, больше года на территории нашей республики работают два исправительно-трудовых учреждения строгого режима. Я, как и многие другие, знаю, где они находятся, приблизительно — сколько заключенных отбывает в них наказание, но не буду называть ни городов, ни цифр, потому что не хочу обременять чиновников Главного литературного управления, так как эти данные все еще приравниваются к государственной тайне. В отношении особо опасных рецидивистов, ныне более или менее успешно справляющихся с производственными планами исправительных учреждений республиканского Министерства внутренних дел, могу сказать только то, что титул «особо опасный рецидивист» суды нашей республики за один год присуждают, по крайней мере, в 25—30 раз меньшему количеству преступников, чем сейчас находится в обоих исправительно-трудовых учреждениях особого режима. Кроме того, немногочисленные обладатели этого титула далеко не все являются жителями республики. Остальных поставляют регионы, где нет таких мест заключения. Это, конечно, можно назвать межнациональной взаимопомощью, потому что у нас в республике, например, нет ни одной колонии для малолетних преступниц, а также колоний малолетних преступников с усиленным режимом. Но у меня есть подозрения, что мы своих малолетних преступников и преступниц просто направляем на курсы в другие регионы, чтобы с годами получить контингент для тех же колоний особого режима. Возможно, что к тому времени, когда в латвийские тюрьмы вернутся прошедшие интернациональную школу наши собственные особо опасные рецидивисты, зачинатели этого дела — министр внутренних дел Латв. ССР Бруно Штейнбрикс и его заместитель Леонс Айре будут занимать другие посты, но благодарность за это все равно заслужили они. И за тех освобожденных из обоих мест заключения особого режима граждан, кто выберет местом своего дальнейшего проживания привлекательную во всех отношениях Латвию. Злые языки, правда, болтают, что отнюдь не забота об этническом многообразии Латвии и неоднородности преступного мира оспосчастливила нас этими местами заключения с особым режимом. В системе исправительных работ Министерства внутренних дел (еще недавно существовало производственное объединение этих учреждений и его генеральным директором был нынешний заместитель министра внутренних дел Латв. ССР Леонс Айре), как на любом предприятии

в нашей стране, существует производственный план (NB — количество запланированной и произведенной продукции — тайна!). Так как за последние два года суды стали гуманнее и во многих случаях, если только возможно, лишение свободы заменяется другими видами наказания, то системе исправительных работ мог бы грозить «завал» всемогущего плана. А так как наша республика издавна славится выполнением любых, даже самых нелепых, планов, разработанных во всесоюзных кабинетах, то очевидно, что чиновники системы исправительных работ не захотели отставать. Следует учитывать, что премии за выполнение и перевыполнение плана получают не заключенные (в денежном выражении), а начальство — начиная с контролеров и кончая чиновниками министерства. И разве вышесказанное не является причиной того, что на территории Латвии, как грибы после дождя, выросли лечебно-трудовые профилактории типа олайнского — эти антиконституционные заведения (на основании какой статьи конституции можно, фактически без суда, лишить человека свободы?)

Во всесоюзной печати уже много писали о приоритете производственного плана мест заключения перед главной целью отнятия свободы — перевоспитанием. Мне это выполнение плана любой ценой и «воспитание» только трудом напоминает времена архиепископа ГУЛАГ, когда заключенные возводили «комсомольские ударные стройки», даже комсомольские города. Тогда «отец народов» сделанное заключенными выдавал за достижение всего советского народа, за труд, проделанный с беспредельным энтузиазмом.

А теперь цитата из газеты «Дарба ритмс» («Трудовой ритм»), органа политотдела ИТУ, примерно шестилетней давности:

«Социалистическое трудовое соревнование в лечебно-трудовых профилакториях и исправительно-трудовых учреждениях нашей республики проходило с широким размахом. Многие коллективы досрочно выполнили задания третьего года пятилетки (. . .) Успех сам по себе не приходит. Его создают сплоченность, трудолюбие, энергия и ответственность за порученное дело. Поздравляем победителей, уже работающих в счет четвертого года пятилетки!»

Значит, главное — сплоченность! И ударники пятилетки сплываются так, что в одном из исправительно-трудовых учреждений нашего города вспыхивают волнения и беспорядки с человеческими жертвами (об этом в прошлом году писал журнал «Огонек», статья была впоследствии перепечатана в «Ригас Балсс»). Одна из причин бунта — межреспубликанская миграция обитателей мест заключения. С июля прошлого года мигрируют из одного региона в другой и условно осужденные. В отличие от свободных мигрантов, интересующая нас часть мигрирует, конечно, по принуждению. Эта миграция происходит как в пределах отдельных республик, так и в пределах всего Союза. Знаю человека, осужденного к лишению свободы на шесть месяцев и вынужденного сменить четыре места заключения! И уж не для того, чтобы время шло быстрее, его перемещают из лагеря в лагерь. Перемещение связано с физическими страданиями, потому что каждый раз на новом месте нужно «прописаться», что означает садистское избивание и унижение со стороны товарищей по несчастью. В данном конкретном случае человек здорово насолил высоким властям, но больше шести месяцев дать ему было нельзя, так жрецы Фемиды постарались за эти полгода предоставить ему и максимальные удобства.

В незавидном положении и малолетние преступники. Вот что мне рассказал подполковник в отставке Эвалдс Юстс, чья работа четверть века была связана с исправительными учреждениями: «В единственный в нашей республике следственный изолятор малолетние попадают уже пройдя обработку и обучение со стороны взрослых преступников. Нередко время с момента задержания до заключения в изолятор предварительного след-

ствия малолетний правонарушитель проводит в обществе старших. Курс тюремной «академии» продолжается в стенах изолятора. Там и на верхних, и на нижних этажах обитают взрослые убийцы, воры, мошенники. После соответствующих церемоний приема каждую «малявку» заставляют кричать через окно камеры в ночную тишину: «Тюрьма, тюрьма, дай мне клычку!» Из соседних камер, снизу, сверху отвечают адресованными новичку кличками. Старые обитатели камеры, внимательно приглядываясь к товарищу по несчастью, выслушивают и сообщают отвечают.

Время от времени находят сотрудники сумасброды, которые не могут больше вынести этот порядок и осмеливаются предлагать варианты, чтобы хоть сколько-нибудь уменьшить губительное влияние старых рецидивистов на малолетних, хотя бы частично исключить возможность угнетения. Эти новшества не потребовали бы ни от государства, ни от учреждения никаких дополнительных затрат. Инициатива обычно обрывается «запрещаю!» вышестоящего начальника и переводом инакомыслящего сотрудника на другую работу.»

Но вернемся к миграции. Пока что миграция заключенных между местами заключения способствует и столь осуждаемой в последнее время миграции свободных граждан. До тех пор, пока закон безоговорочно и без каких-либо исключений не определит право заключенного (или же не заставит его) отбывать срок наказания в республике (области), где он родился или же был прописан до заключения, до тех пор будет происходить межрегиональный и межреспубликанский обмен преступниками, а также их консолидация. Причем обмен отнюдь не эквивалентный. Фундаменты новых мест заключения закладываются в регионах, где не хватает рабочей силы. Так как многим чиновникам различных ведомств годами казалось, что Латвия не может обойтись без помощи приезжих, то и мы время от времени бываем ошарашены этим высококачественным контингентом «ударников пятилетки». Не знаю, изучал ли кто-нибудь, сколько из этого контингента остается в Латвии по истечении срока заключения. Раз уже объявлено, что каждый гражданин СССР в любом месте страны должен чувствовать себя как дома, а Латвия и есть «наш общий дом», то кто же запретит это ощущение дома уголовному преступнику? Это ничего, что родился он далеко от Балтийского моря, а в республику приехал только «на гастроли». Это ничего, что свои преступления он совершил в знойной Средней Азии. В целях перевоспитания он прислан сюда и после освобождения он имеет право на общий дом. Из недавно принятого закона о прекращении миграции я так и не понял, причисляется ли к категории людей, за которых при приеме на работу предприятие должно уплатить двадцать пять тысяч рублей, и освобожденный из заключения преступник, до наказания проживавший за пределами республики. И не надо ли срочно дополнить закон еще одним пунктом, предусматривающим уплату требуемой законом суммы и за каждого работающего в исправительной трудовой системе, привлеченного из другой республики?

Хотя ведомство мест заключения быстро бы покрыло расходы, потому что осужденные к лишению свободы — самая дешевая рабочая сила. Они полностью содержат огромный аппарат контролеров, охранников, политработников и, частично, сотрудников Министерства внутренних дел. Надеюсь, не является государственной тайной то, что заключенный за свой труд получает только примерно половину заработанного. Из второй половины у него удерживают за питание и одежду.

Любопытно, что все равно, зарабатывает ли заключенный сто или двести рублей в месяц — половина «кесарю». Мы протестуем против миграции, а крупные предприниматели уже успешно используют труд заключенных. Ярким примером является знаменитый РАФ, по соседству с которым находится лечебно-трудовой профилакторий. Как недавно стало известно из публикации в «Советской Латвии», Виктор Боссерт отнюдь не отка-

зывается от столь «высококвалифицированной» рабочей силы. Так что остается только построить еще несколько мест заключения, создать еще несколько лечебно-трудовых профилакториев, и зря наши уважаемые ученые трудились над законом о прекращении миграции, зря интерфронтовики на своем съезде выступали против него, зря Совет Министров его принимал. Из «Кодекса исправительно-трудовых учреждений» можно узнать, что в нашей стране существует девять видов исправительно-трудовых учреждений. Так как мужчины и женщины отбывают наказание раздельно, то умножим это число на два. Допустимое максимальное число заключенных в каждом из этих мест заключения различно. Прodelав несколько простейших арифметических действий, получаем среднюю цифру — полторы тысячи. Вдобавок так называемые учреждения по лечению алкоголиков. Так что считайте, жаждущие мигрантской рабочей силы. Боритесь за строительство новых колоний у нас в республике! Требуйте от участковых уполномоченных, чтобы они усерднее разыскивали в своих районах алкоголиков — и проблема дешевой рабочей силой будет решена. Не хватит преступников? Ничего — помогут другие регионы нашей необъятной страны — закон это позволяет! Удобно, дешево, выгодно!

И это может произойти в действительности, если министерства, курирующие в нашей республике места заключения, не будут заниматься только преступниками, проживающими в Латвии, т. е. гражданами Латвии. Гарантируя им, в свою очередь, право отбывать наказание в Латвии. Это потребует радикального изменения всей системы мест заключения, но разве Министерство внутренних дел против перестройки?

Конечно, нет!

Все же такая перестройка потребует от кураторов мест заключения избирательности и желания соблюдать элементарные нормы прав человека, не говоря уже об использовании латышского языка в местах заключения.

Если на территории Латвии государственным языком является латышский, то в местах заключения заключенные должны иметь право разговаривать по-латышски не только с товарищами по заключению, но и с начальством. А начальство разное. В том числе и служащие внутренних войск. Эти войска не формируются по территориальному принципу. При их формировании не учитывается и способность объясняться на государственном языке. Но солдаты и офицеры внутренних войск соприкасаются не только с заключенными. В служебные обязанности многих из них входит контактирование с близкими осужденных, имеющими все конституционные права говорить на своем родном языке. Вряд ли кто-нибудь будет устраивать курсы латышского языка для ребят, призванных во внутренние войска из других республик. Значит выход один — формировать эти соединения из владеющих латышским языком. Конечно, служба, связанная с местами лишения свободы, не из приятных, все же полагаю, что граждане Латвии не откажутся помочь выйти на праведный путь своим согражданин, сознавая, что и от их труда зависит, каких людей получит общество по отбытии ими наказания.

Тут мы подходим к самому большому вопросу мест заключения — перевоспитанию. Ни для кого не секрет, что сегодня все перевоспитание происходит с помощью трудовых и производственных планов. Будешь лучше работать — быстрее освободишься. Перевыполнишь норму — получишь минимальные привилегии. Не выполнишь норму — пострадают твои товарищи по работе. Критерий премирования и возможной карьеры сотрудников колоний тоже, фактически, один — выполнение производственного плана.

Рецидив преступности бывших обитателей соответствующего места заключения — существует ли такой учет вообще и оценивалось ли по нему качество работы «обслуживающего персонала»?

Поинтересовался у нескольких специалистов, как мне, не имевшему никакого отношения ни к педагогике, ни к юриспруденции, устроиться на работу в каком-нибудь исправительно-трудовом учреждении. Оказывается, нужно только написать заявление, пройти краткосрочные курсы и я получу возможность стать начальником подразделения. Никого не будет интересовать мое психологическое соответствие этой работе, мои педагогические способности. Нетрудно представить, какие люди попадают на работу в исправительно-трудовые учреждения. Что требовать от командира подразделения, если начальником колонии, о котором писал «Огонек», был, по профессии, сапожник, а у заместителя министра внутренних дел Латв. ССР Леонса Айре инженерное, а не юридическое образование.

Мы идем к суверенной Латвии. Будем надеяться, что со временем она действительно будет нашей. С нашими светлыми умами и несчастными пропойцами. С людьми, живущими по совести, но и с правонарушителями. Но последние — часть нас самих, нами же созданы. Поэтому подумаем и о них.

P. S.

Когда материал был уже подготовлен к печати, я прочел в газете «На боевом посту» (от 16 марта 1989 года), что, выполняя служебный долг, погиб сотрудник Даугавпилсской исправительно-трудовой колонии Виктор Немененок. Его и еще трех заключенных убили два матерых рецидивиста.

Так как печатный орган коллегии и политотдела Министерства Внутренних дел Латвийской ССР назвал место нахождения колонии и указал, что преступление совершено двумя матерыми рецидивистами, то любому читателю газеты «На боевом посту» ясно, что одно из двух исправительно-трудовых учреждений особого режима расположено в Даугавпилсе.

Могу только присоединиться к коллегии и политотделу Министерства Внутренних Дел Латвийской ССР и выразить соболезнование близким Виктора Немененка. Но следует также выразить соболезнование министру внутренних дел ЛССР Бруно Штейнбрику и его заместителю Леонсу Айре, так как ответственность за преступление в исправительно-трудовой колонии ложится и на них.

Их вина усугубляется тем, что 6 марта (трагедия в колонии разыгралась 7 марта) значительные силы стражей законности были брошены на задержание пикетирующих актеров, а в последующие дни — на разгон пикетчиков.

Можно, конечно, считать это стечением обстоятельств, но все же я склонен считать это закономерностью — в то время, когда следовало бы сконцентрировать все силы на борьбе с растущей преступностью, работники милиции и министр, угождая амбициям пока что анонимного «генерал-губернатора», применяют насилие по отношению к мирным жителям Латвии.

Припоминаю недавние события в Елгаве, когда один работник милиции застрелил другого такого же работника, трудно удержаться от недоумения, ведь мы годами слышали «Наша милиция нас бережет!».

Если в Даугавпилсе работники внутренних дел не сумели справиться с двумя рецидивистами, то что же будет, если несколько сотен решат сплотиться, неужели они не смогут выбраться из места заключения? Никакие оправдания тогда не помогут, что, дескать, в условиях демократизации значительная часть милицейских сил занята поддержанием порядка на митингах и демонстрациях.

И еще — в цивилизованных странах министры и их заместители, которые не справляются со своими прямыми обязанностями, уходят в отставку.

Но мы ведь живем . . . ну конечно же — в Латвийской Советской Социалистической Республике, которую прокурор республики считает правовым государством.

А. Б.

МИХАИЛ ЭДИДОВИЧ

ЕВРЕЙ—МИНИМУМ? ЕВРЕЙ—МАКСИМУМ!

Народу, что векам дал гениев великих,
Народу, что несет из тьмы глухих времен
Высокий гордый дух среди наветов диких —
Глубокий мой поклон!

Максим Рыльский

(РАЗДУМЬЯ НА ВЫСТАВКЕ ЕВРЕЙСКОГО ИСКУССТВА)

В предреволюционном 1916 году, «Русское Общество для изучения еврейской жизни» выпустило третий (!) изданием, отредактированный М. Горьким, Л. Андреевым и Ф. Сологубом литературный сборник «Щит». Бумажный заслон евреев от погромов не спас. Но явственно подтвердил: лучшие люди России против антисемитизма. Отношение к евреям было, есть и остается мерилем совестливости и справедливости как государств, так и каждого из подданных в отдельности. И в этом отношении приливы и отливы еврейской эмиграции — суть сигналы государственного благо — или неблагополучия.

Всероссийский Съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов в июне 17-го потребовал «вести неустанную агитационную и просветительскую работу среди самых широких народных масс в целях борьбы с антиеврейской травлей...». Борьба с антисемитизмом объявлялась «делом чести революции».

Народу, давшему миру «библию, евангелие, гениальное обоснование социализма и пламенную защиту братства народов», как подчеркивал публицист того времени В. Львов-Рогачевский, наконец-то, воздавалось должное.

Такой поворот истории древнего «народа Книги» логически привел к тому, что на VI съезде РСДРП(б) второе по числу делегатов место после великороссов — 92, занимали

евреи — 29. Третье — 17 — латыши.

Как же нужно было извратить национальную политику, чтобы породить в настоящем среди русских легально черносотенствующее общество «Память»; вынудить евреев к массовому переселению в капстраны; довести латышей до признания, что «народ красных стрелков» исчезает с лица земли!

... Иду плитами высвеченного солнцем Каунаса, вбираю зрением и слухом полдень гордого города и редкое для рижанина умиротворение трогает улыбкой губы: хо-ро-шо!..

Žydu!

Белье на черном буквы хлестнули по глазам.

Žydu!

Наваждение не исчезло, наоборот, зримо уплотнилось в черный лист афиши с белым опоясом — «Lietuvos žydu daile».

«Еврейское искусство Литвы». Выставка. Ликуй, Исайя! Но четыре буквы! И ведь знаю, что слово это не что иное, как славянская форма латинского «judaeus». А вот же не сладил с нервами и время рванулось вспять...

... третий год пятидесятых тыща девятьсот. Мать торопит сына в школу — школяра трясет. Небо рухнуло на крыши — Сталин занемог. Лекарей кремлевских топчет рюминский сапог. «Дело» пухнет. Тянет смрадом от фискальных строк. Что ни день черней газеты, ближе «воронок». Из още-

рившихся, зверьих — пулями плевки. Полувмятый в раму двери, тычу кулаки. — Жри! — суют газетный смятень. Ложью вяжет рот. С высоты распятая вижу загнанный народ. Виноват, что невиновен, что недорусел, Кривью носа, древлекровью, коей красны все: Фараон и римский кесарь, и московский князь, Фюрер и генсек, и в князи хлынувшая грязь. Дрейфусары... Бейлисары... Сару бей, сарынь! О, голгофы недовзрослых, школы и дворы! Взрослым выпали лубянки и лубочный рай Под извечный, всенародный рыбе-рабий грай... Братство. Равенство. Свобода. — всуе, а в душе — Ржанье над Биробиджаньем из папье-маше...

Žydu...

Жужжащий сгусток ненависти...

Жалящая ухмылка презрения...

Желтая мета изгоя...

Не выдал раба, все еще (по Б. Слуцкому) «ношу в себе, как заразу, свою проклятую расу».

А вы, соплеменники мои, наследники прямые тех, чьи «духовные и умственные способности, — по утверждению М. Горького, — не глохнут, а наоборот, пускают корни в новых обстоятельствах жизни?»

Вы-то как? Может, от меня в отличие, в названии выставки выделили не žydu, a daile — искусство? Ведь именно в нем, в искусстве живет настрадавшаяся, семьюдесятью странами надорванная, двадцатью культурами заглушаемая Душа Народа.

Но искусство национально. Я не верю в бальмонтовское: «Несть Элина, ни Иудея, Есть Вифлеемская звезда».

Я — ЕВРЕЙ и этим самоценен. И самобытностью своей дорожу не менее, а, может, и более иных сограждан по Союзу Социалистических.

Почему? Да потому, что ни один из советских народов не рдеет столь стремительно и необратимо, как еврейский. Судите: 2 450 000 в 1959-ом, 2 154 000 — в 1969-ом, 1 800 000 — в 1979-ом, а в этом, 1989-ом, и того меньше.

Где они, родные, друзья, знакомые, единоверцы, где СЕМЬСОТ тысяч и более советских подданных?

Естественная убыль? Допускаю.

Уход в смешанные браки и смена вывески? Есть и это.

Но несомненно убыли и ухода — ИСХОД. Молчаливо санкционированный, исподволь поощряемый авторитарной госсистемой, длящийся десятилетиями и не маскируемый уже воссоединением семей ИСХОД советских евреев.

И дай Бог, говорят мои единоверцы, наконец-то созрели и двинулись туда, где единственно возможно истинное возрождение... Из досоветской России бежало больше: с 1881 по 1908-ой — более 1 500 000; один только 1903-й дал эмиграции 100 000 евреев; и чем меньше нас, тем больше естественная сопротивляемость беспомощности, неуклонному ассимиляторству, конечному слиянию наций.

Так-то оно так. Но не все избирают конечным пунктом еврейское государство. Едут и мимо, причем в большинстве... Не желая, чтобы дети из Давидов превращались в Дим, не возражают против Дэвидов и Джонов. Но почему?..

«Еврейское искусство Литвы»... То, что буднично для других народов, для нашего — событие. Всего несколько лет назад считалось нежелательным упоминать нас даже в газетном перечне народов, сокрыв в стыдлимом «и др.», а тут — черным по белому!

Выставка-вызов! Буклет с шести-конечной звездой. Плакетта с бес- смертными десятью заповедями. Синагогальный светильник, ритуальная посуда, обожженный свиток Торы. Полотна, скульптуры, фотографии, графические листы...

Выставка-победа! Из Каунаса она переедет (уже переехала!) в Вильнюс. Из вильнюсского зала Литовского фонда культуры (не сглазить бы...) — в Вильнюсский еврейский государственный музей. Он, в свою очередь, разместится в кинотеатре «Пионер-рус», бывшем еврейском театре.

Открывая первую с 1938 (I) года выставку еврейского искусства председатель Литовского фонда культуры профессор Ч. Кудабя говорил о чувстве коллективной вины, он призвал

к «осознанию его, изживанию и через него — очищению». Но может быть для его латвийских коллег это позднее раскаяние — бремя непосильное или они сделали уже все от них зависящее, чтобы оставшиеся в живых евреи развивали свою культуру?..

Выставка-пролог! К тем, грядущим, которые, надеюсь, станут неотъемлемым слагаемым культурной жизни страны. Только организатор ее Э. Зингерис знает, чего стоило открыть эти стенды после пятидесяти лет запрета в Литве и двадцати — в Союзе. На стенах и в витринах Каунасской государственной галереи — результат пятилетних розысков, сшибок с воинствующими противодеструктиваторами. Выставка, еще далекая, как он считает, от особых претензий, «лишь упоминание о некогда пышном древе национальной культуры, древе, подрубленном в самом цвету».

Выставка-реквием! Траур афиши усилен черными завесами подпотолочья. Минутами кажется, что гид мой, брат Зингериса — Марк, поэт, читает поминальную молитву кадиш. Но нет, голос крепнет. «Эти траурные завесы, — вскидывает он узкие ладони, — прорежет живой луч возрождения...»

— Омен! — звучит тоекратно за нашими спинами. Кто? Старец с дочерью? Стайка юнцов в ермолках? Затянутый в «тройку» толстяк? Ну не офицеры же с «крылышками» в петлицах? Хотя...

— Баал Шем Това читали?

— «Отца» хасидизма?

— «Еврей, который отказывается от своего происхождения, отвергает своих собратьев, чтобы сделать так называемый вклад в человечество, в итоге предаст человечество. Это справедливо для всех людей.»

— У Мандельштама короче: «Предательство — замороженная память!»

— Заметно потеплело...

— Волна, как говорят японцы, подняла все лодки...

— Не оказаться бы на мели, когда она откатится...

— Отплывайте дальше от берега...

— Силы духа нам не занимать... Из 500 тысяч фронтовиков более 150-ти — Герои Советского Союза!..

— Вот уже и друг друга убеждаем... А ведь еще Леонид Андреев писал: «доказывать, что «еврей — тоже человек», значило бы не только слишком низко кланяться абсурду, но оскорблять тех, кого любишь и уважаешь».

— Но антисемитизм все же, по Гроссману, «без ущерба для себя перекочевал в эпоху атомных реакторов и электронных машин».

— Вечный антисемитизм?..

— Когда рассматриваешь экспонаты израильского «Музея потенциальной катастрофы»: документы, газеты, книги, издевательские открытки и ка-

рикатуры, невольно приходишь к этой мысли...

— И тем острее необходимость в таких, подобных литовской, выставках...

— Музеях...

— Обществах культуры...

Девяносто четыре из каждых ста литовских евреев уничтожены. Казалось, уже ничто не вызовешь из небытия... А вот же, вызвали... Еврейское традиционное искусство... Еврейское искусство Каунаса (1918—1941)... Еврейское искусство Вильнюса (1918—1941)... Фрагменты передвижной выставки еврейской графики из коллекции Ю. Генса (Таллинн — Рига, 1938)... Творчество еврейских художников, эмигрировавших из Литвы... Послевоенное покоевание еврейских художников...

— Что же, — размышляет вслух Марк Зингерис, — вынуждало нас вот уже полстолетия держать под спудом эту бронзу и гипс, живопись и графику? Кто не позволял видеть этот драматический колорит, эти ломаные линии, мазки — вообще весь этот драматический почерк еврейской культуры? Почему Бекерис, Перцковичюте, Блатас, Файнштейн, Шагал и Антокольский по сей день не воспринимаются официозом в контексте их национального искусства? Кто и почему упорно отрывает их от еврейского народа?..

Молчу в ответ. Чтобы не полнить горестями своими чашу печали сотоварища по «цеху поэзии». Ведь в Латвии та же «разумная постановка» еврейского вопроса. Доска почета, вбетонированная в пепел сожженных в синагоге; могилы, рассеченные асфальтовыми дорожками парка; здание Еврейского театра, именовавшееся еще недавно университетом марксизма-ленинизма и до сего дня не принадлежащее нам целиком... Пылятся в частных коллекциях холсты еврейских художников... Затолканы на антресоли старинные еврейские книги... Ни одна улица не названа именами расстрелянных евреев, приумноживших славу народа и Латвии...

А ведь начиналось здраво, «Декларацией прав народов России», поставившей антисемитизм вне закона.

Поставить-то поставила... Но как заметил Б. Пастернак в одном из стихотворений: «Все было вновь отобрано. Так вечно, пункт за пунктом, Намереньями добрыми Доводят нас до бунта».

Бунта не будет, уважаемый Борис Леонидович. Хотя для жрецов Системы — Zydu на двери государственной галереи уже бунт.

Двести с лишним лет минуло с того дня, когда государыня Елизавета начертала на постановлении Сената о допущении евреев в Ригу лаконичную резолюцию: «От врагов христовых не желаю интересной прибыли!»

Тщетно Сенат убеждал, что «торг

в Риге весьма пропадет и Рижские купцы ни с чем останутся, и тако Вашего Императорского Величества интересу великой ущерб приключится!»

— Не желаю! — отрезало Императорское Величество.

— Не желаю! — вторят последователи кичливой Елизаветы Петровны.

В пятьдесят седьмом я провожал своего наставника-обувщика. В шестьдесят шестом — близкую мне женщину — химика. В семьдесят пятом — приятеля-журналиста. В семьдесят восьмом — двоюродную сестру жены — товароведца. В семьдесят девятом — свою двоюродную сестру-медика и двоюродного брата-слесаря. В восьмидесятом — родного...

«От прощальных рукопожатий, — как пел А. Галич, — поухудела моя рука»... Уезжали с домочадцами. В диссидентах не числились. Противоправного шлейфа за собой не оставляли. Оставляли неласковую родину и въевшееся в печенки ощущение своей второсортности. Оставляли стойкую подозрительность исполнительной власти и не менее стойкое равнодушие законодательной.

Оседали на обетованной земле Израиля, в Канаде, Италии, Швеции, ФРГ. Но в основном, конечно, в США. Назад, речь только о них, и не помышляют. Наоборот, соблазняют выгодой материальной и несравнимо большей, по их словам, возможностью приобщения к еврейской культуре, перспективами для детей.

Можно, конечно, этими доводами пренебречь. Можно продолжать толковать о «загнивающим строе». Но удержат ли глухари усомнившихся? Вот уже и неподкупный хирург Н. Амосов признает: «он (капитализм — М. Э.) жизнеспособен и динамичен, стоит на крепких биологических основах.»

Сотни тысяч наших соотечественников это поняли еще раньше. Они там, где «от врагов христовых», не в пример нашим высочествам, интересной прибыли желают.

Редакция «Огонька» опубликовала письмо читателя Я. Кулика, цитирующего архивную статью семидесятишестилетней давности, актуальную и сегодня.

«Здесь, в Америке, особенно ярко видно, какую огромную творческую созидательную силу потеряла Россия в безумной политике антисемитизма, в ее диких формах, которые имели место у нас...»

И продолжает терять... Моим еврейским согражданам высланы семьсот с лишним тысяч вызовов! Один, к слову, мне лично, в 1972 году. Вернувшись из Магадана в родную Ригу, я, журналист с 15-летним стажем, вынужден был наняться матросом на речной теплоход «Колхозница». Ни одна редакция, даже многотиражки,

меня не взяла. Пуганые редакторы искали причины. Родственники и знакомые — окольные пути. А зарубежье оперативно среагировало вызовом.

Я не воспользовался им. Почему? «Дальний потомок библейских пророков, Сын обрусевших рабов ремесла, сбросив вериги житейских уроков, понял: из двух наболевших Востоков — Дальний мне ближе родного угла. Угол, булыжный готический дворик, Ливней балтийских гриппозная вязь, Здесь для дорог я родился, чтоб вскоре, Ближним простив Средиземное море, Смыть в Ледовитом дорожную грязь».

Эти строки перепечатала из альманаха «На Севере Дальнем» израильская газета «Наша страна», подверстав к ним нелестные соображения в мой адрес. Задним числом с упрёками частично согласен. Вернувшись в Ригу вторично, уже в восемьдесят четвертом, т. е. спустя 12 лет, с горечью убедился — во мне по-прежнему не нуждались. Те, кто «от врагов христовых...», ключевых позиций не сдали.

Это они, играя желваками, отрицают существование в нашей стране национальных проблем.

Это они, вместо того, чтобы обнародовать эти проблемы и всем миром разрешить, продолжали тайком фотографировать на перроне провожающих, множа позорные досье.

Это они выдавали иллюзии за реальность, провозгласив казахские, армянские, литовские, татарские, еврейские и, какие еще впереди, эксцессы.

«Соединенные Штаты Америки, — заметил в интервью корреспонденту «Эн-Би-Си» М. Горбачев, — наполовину удовлетворяют потребность в математиках за счет иммигрантов из СССР».

По данным ЮНЕСКО на подготовку одного специалиста необходимы 46 000 долларов. Но каждые 10 лет его работы приносят государству или фирме около 250 000 прибыли.

Так не рентабельнее ли, как советует грустный анекдот семидесятых, продавать Западу вместо сырья — «врагов христовых»? Думаю, если бы такой вопрос задали заплутавшим в лесах перестройки экономистам — славянофилам, ответили бы утвердительно. Ведь не секрет, что есть у нас в избытке госмужи, всерьез считающие, что вытеснение инакомыслящих и недовольных за границы «братской семьи народов» — едва ли не самый универсальный способ решения задачи. И вытесняют не только евреев. В этом отношении они завидные интернационалисты: Солженицын, Любимов, Бродский, Тарковский, Галич, Коржавин, Некрасов, Ростропович... Вспоминаю, как в магаданской гостинице «Центральная», после концерта в полупустом зале муздрамтеатра,

гениальный виолончелист разъяснял мне, что командировкой на Колыму, отменив гастроли в Париж, его наказали за то, что приютил на своей даче опального Солженицына. И вот оба уже «не наши». Влору упиваться административной победой. Но что-то поутихли восторги. Наоборот, в прессе обсуждаются варианты возвращения на родину советских герценов.

Проанализируют потомки и результаты необъявленной войны против советских евреев. Запоздало свяжут Исход с разладами в советской системе. Предадут гласности авторов листовок, распространяемых в Москве и Ленинграде, уверяющих, что «просионизированный аппарат государственной не в состоянии прекратить еврейские бесчинства на нашей земле». Полагаю, что латвийские лазутчики «Памяти» этим не столь обеспокоены. Ведь историк М. Вульфсон с трибуны пленума Союза писателей Латвии с участием руководителей всех творческих Союзов без обиняков заявил, что «на дверях высших партийных инстанций уже много лет может висеть лозунг «юденфрай» («от евреев свободно»). Кто читал роман Г. Кановича «Улыбнись нам, господи!», вспомнит ответ Шахны ротмистру Князеву: «Рад, бы, ваше благородие, да нас выше не пускают». Правда, говорилось это в начале века!..

Но легально призывающие к погромам ротмистры «Памяти», мобилизуют россиян на «защиту от евреев». Им внимают учителя и школяры, защитители порядка. А ведь Луначарский предупреждал, что «антисемитизм — это самая выгодная маска, какую только может надеть на себя контрреволюционер». Евреев, оказывается, еще так много, что мы ощущимо угрожаем жизненно-важным интересам великороссов, а может, не только их. Недоработали эйхманы, недовырезали, не защитили юдофобов отечественной закваски от «врагов христовых». Самим теперь защищаться надо.

Как? Гуманнее прежнего. Не так, конечно, как при Иване Грозном, взявшем четыреста лет назад Полоцк: согласных креститься — крестить, несогласных же — утопить в реке Пологте. И не так, как предлагал оберпрокурор Святейшего Синода Победоносцев: треть — извести погромами, треть — изгнать, оставшихся — крестить.

Молодой «инженер человеческих душ» Ю. Зафесов в изданном «Современником» коллективном сборнике безоглядно щедр: «Уходите за край — не держу! И солдаты не держат. Унесите задел ироничных жестоких идей. Уведите стада...»

Насчет стад — перебор. Не разрешают со стадами. Да и где они, стада, у людей, чья «национальность — продавец, а профессия — еврей»? Но идеями стихотворец не дорожит зря.

Так ведь можно не только второго Ландау или Таля с водой выплеснуть, но и Спинозу, Маркса, Эйнштейна.

Куда мудрее и рачительнее был друг еврейского скульптора Антолского — критик Стасов, считавший и, наверное не без оснований, что «еврейское племя так талантливо, что вы только снимите с этих людей путы, и они тотчас же несутся с неудержимой порывистой силой и вносят свежие горячие элементы в массу европейского гения, знания и творчества».

Эта же мысль прозвучала в нью-йоркском выступлении (1906 г.) М. Горького: «Я считаю свою теорию непоколебимой: во все эпохи евреи были ненавидимы, так как всегда они оказывались величайшими революционерами в мире».

Кажется, достаточно, чтобы суммировать и задуматься...

В Штатах, этом, по выражению еврейского драматурга Зангвиля, «плавильном котле», работают: Еврейская комиссия национального комитета компартии, Еврейский культурный союз, организация «Друзей обучения на идиш», ассоциация еврейских издателей, Совет еврейских культурных клубов и десятки других общественных организаций! Значительно больше их, чем в «первой стране социализма» и в других капиталистических странах.

Обошли нас и соцсоседи. В панораму политической жизни Восточной Европы органично вписались: Дома еврейской культуры, государственные музеи, театры, редакции, издательства, просветительские общества и творческие союзы. Государство содействует сооружению мемориалов жертвам фашизма. Общины ведут поминальные книги, в которые каждый еврей может вписать фамилии безвинно погубленных родных и близких. Открыты библиотеки с собраниями древнееврейских рукописей. Действуют выставки работ еврейских художников, скульпторов и ремесленников. Реставрируются синагоги. Объявлены историческими памятниками старые кладбища.

А у нас, в Союзе, в Прибалтике, в Латвии, в моем голубином городе, в Риге медного цвета, в Риге цвета опавшей листвы?

В Прибалтике только сейчас, почти через полвека после восстановления советской власти, встают на ноги еврейские общественные организации. Они рождаются названиями. Но цель у них одна: раздуть пламя в разваленном национальном очаге.

В царской «тюрьме народов», и мы это знаем, изуверски заставляли евреев принять иную веру, терроризируя погромами и Сибирью, солдатчиной и петлей оседлости.

В царской «тюрьме народов», и мы этого не знаем, существовали десятки национальных объединений. Перечислю: Общество для научных еврейских

изданий, Историко-этнографическое общество, информбюро для еврейских эмигрантов, Колонизационное общество, Общество ремесленного и земледельческого труда, Общество народной музыки, Общество любителей еврейского языка, Союз для достижения полноправия еврейского народа в России, Общество развития науки о иудаизме, Общество распространения правильных сведений о евреях и еврействе...

Не упомянуты библиотеки, газеты: бундовцев, сионистов-социалистов, сеймовцев, террориалистов...

Не сказала я и о журналах: детских, литературных, художественно-критических, юмористических. На двух еврейских языках: древнем и приобретенном в рассеянии.

Пропустил театр. Правительственные чиновники прикрыли его в конце XIX века. Но полтора десятка трупп гастролировали и срывали аплодисменты московско-петербургской публики.

Жили национальным укладом и евреи Латвии. Об этом свидетельствует телефонный справочник. Год 1939-ый... Перелистаем? Школа ремесленников. Общество образования. Библиотека с читальным залом. Театр. Гимназия. Общество «Иврит». Общество освободителей Латвии. Политехническое общество. Женсовет. Референты министерства по делам просвещения евреев. Религиозная община.

Десятилетия торжества советского народовластия евреям оставили: религиозную общину и кладбище.

Это ли не «разумная постановка» еврейского вопроса?

«Свирепствовала ли чума и валила с ног людей, — свидетельствует средневековый хронист Фабрициус, — случалась ли землетрясение — за все сжигали евреев».

Запахом «жареных иудеев» несло от папского двора, королевских замков и базарных площадей Европы.

Переимчивая детвора и сейчас забавляется слетевшей с родительских губ поговоркой: «Пришла беда — зови жида, ушла беда — гони жида». Есть и песенка: «Вышли парни к Гауе жидочков пострелять». Брызжет остротой пародия: «Широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей, морей. Человек проходит, как хозяин, Если он, конечно, не еврей».

Смешно? Этот репертуар питает завтрашних болеславов майковских и вилосов хазнерсов.

Пренебречь? Заслониться ленинским выводом, что «только совсем темные, совсем забытые люди могут верить лжи и клевете, распространяемой против евреев?»

Но если бы это было так... Круто поднялся образовательный уровень антисемитов. Как в воду глядел Д. Овсяннико-Куликовский, публикуя в 1916-ом свой прогноз: «стихийные чувства, в особенности злые, застаре-

лые предрассудки, умственная темнота и моральная тупость обладают большой силой инерции. Это своего рода болезни сознания, отличающиеся упорством, заразительностью и способные к передаче путем психической наследственности. Ослабленные или, казалось, исчезнувшие у отцов, они неожиданно появляются у детей и внуков...»

На стене Центрального Дома литераторов, в фойе которого выбиты в числе прочих фамилии еврейских писателей, павших на войне, нетерпеливая рука разъясняет, кого бить и от кого спасать Россию.

На Рижской киностудии в свое время соглашались снять ленту по рассказу Э. Вилкса «В полночь», если автор заменит еврейского мальчугана хотя бы цаганенком.

«Здоровые силы» «Памяти» в ДК издательства «Правда» вскинутыми над головой сапогами голосовали против выдвижения в народные депутаты СССР «сиониста» В. Коротича.

Выставка Магаданской организации художников отклонил холст из-за еврейской модели. По этой же причине мне вернула литературная редакция Всесоюзного радио цикл стихов.

В Воронеже отрещиваются от Мандельштама. В Витебске — от Шагала. Помощник Н. Хрущева на просьбу передать главе государства монографию Шагала с автографом ответил ходатаю — Евтушенку: «Евреи, да еще и летают!...». Книгу не передал.

Еврейский персонаж на двадцать лет задержал выход к зрителю кинофильма «Комиссар» по рассказу В. Гроссмана.

Мы знаем, кто стрелял в Ленина — эсерка Каплан. Но не знаем, за чью голову сулил Деникин два георгиевских креста и десять тысяч золотом. За голову захороненного на Красной площади Марка Мокряка.

Знаем Болотникова, Пугачева и Разина.

Не знаем Бар-Кохбу, Бар-Гиора Симона и Акиву.

Даже об Иосифе Бумагине, еврейском Матросове, мало кто слышал.

«Ветераны, — недоумевают читательница литовской республиканской газеты Г. Адомайте, — что приходили в школу с воспоминаниями о войне, слова «еврей» почти не произносили. О том, что Вильнюс был центром еврейской культуры в Европе, что в войну сгорела синагога с бесценными изданиями, никто нам не рассказывал. И бывшее гетто никто нам не показывал».

Но, «если ты своей жизни не знаешь, — размышляет эстонец М. Траат, — истории биографии хода вещей тебе ее выдумают, припилят, наклеют (...) и в конце концов ты уверуешь в то чего не было нет и никогда не будет».

Уверуем, что родословные наши

исчерпываются отцами и дедами из местечек, а эпоха Храма, европейские «докрестовоходные» поселения, еврейско-испанский Ренессанс, изгнание из Франции, Возрождение в Польше и другие главы нашей Истории, вовсе как бы и не наши. «Нет, — утверждал первый зам. председателя Антисионистского комитета советской общественности, профессор С. Зивс, — единого еврейского народа всего мира».

Смелое утверждение. Но вряд ли его разделяют соплеменники категоричного профессора. Как, впрочем, и утверждение главного редактора «Советиш Геймланд» А. Вергелиса, якобы убежденного в том, что «нет такой области советской еврейской культуры, которая не развивалась бы в нашей стране».

Извинить почтенных евреев может лишь то обстоятельство, что поделились они этими откровениями еще в 1984 году на пресс-конференции Антисионистского комитета. «Литературная газета» отвела откровениям полосу. Подлинной истории евреев еженедельник не уделил и строки с 1929 года!

На что опереться, что противопоставить «наветам коварным»? Что если сам факт многовекового противостояния народа, составляющего всего один процент населения мира, чужим влияниям — не убеждает?

О, как не хватает нам Общества распространения правильных сведений о евреях и еврействе, работавшего во имя «сближения с другими народами». Сближения трудного. Растянутого во времени. Как писал Х. Бялик: «Прямые короткие пути! Потребна скорбь, потребно время, Чтобы могло произрасти На ниву брошенное семя».

Погромы, карательные акции фюрера и генералиссимуса пробили в рядах просветителей невосполнимые бреши. Чем и как мы заполняем их?

Нового Общества распространения правильных сведений нет.

Есть Каунасская выставка — скромный барьер беспамятству. Зингерис ведет меня мимо витрин с предметами культа. Вот тефелин — кожаные коробочки с библейскими текстами... Арбенканфес — квадратное одеяние с кистями... Таллес — синеголовая накидка... Шестьюстами тринадцатую запретами спеленут верующий еврей. Но сохранил бы он духовную сущность свою, просуществовал бы как народ, когда «весь мир, — по Х. Бялику, — был нашей плахой», без этого охранительного самоограничения?..

«Когда народ лишили Храма, Лестцы земных богов восславили. Но жизнь без Храма — праздник хама. И хамы, обесхрамев, правили...»

Алтарь с отчужденными от меня буквами древнего алфавита... Фотография синагоги в Тауреге. Фото надгробного памятника... Еще одного,

обреченно покосившегося... Поднимут ли его единоверцы?.. Живы ли они?.. Ушла из литовских местечек негромкая еврейская жизнь... Навсегда? И может ли народ бесследно кануть?

«Совершая круговое вращение от зала к залу, — пишет рецензент Э. Суроткявичюте, — черный цвет отступает и окончательно исчезает, уступая место радости, которая, по словам Б. Спинозы, является «переходом человека от низшего уровня совершенства к высшему».

В 1928 году, беседуя с корреспондентом литовско-еврейской газеты «Ди идише вельт», Марк Шагал вспоминал: «Лежа на кипе газет в пустом театре и глядя с пола на потолок, я молил своего дедушку, распавшего синагогу, подарить моей кисти хоть единую каплю еврейской подлинности».

Этой национальной достоверностью отмечен вклад в мировую сокровищницу не только Шагала, Левитана, Бакста, Альтмана, Сутина, Липшица, Каца, Сегала, Аронсона, Антокольского, Идкина, но и «литовцев». Не брат и сестра, а два налитых с краями сосуда печали ожили на холсте А. Яцовскиса. Уронила голову, придавленная тоской, изработавшаяся кляча на холсте З. Бекериса. Нетленной молодостью мерцают глаза матери, написанной М. Банд. Проступили из мрака, который уже никогда их не отпустит, жертвы гетто, увиденные А. Блатасом.

Эту выставку приняли в Каунасе. Принимают в Вильнюсе. Примут в Риге. А надо бы, тщательно сберегаемую, дополненную уникальными свидетельствами жизнеспособности еврейской культуры, показать москвичам и ленинградцам, жителям Нечерноземья и Сибири, Украины, Белоруссии, Дальнего Востока...

Надо!.. Но кто, кроме еврейских общественных организаций, за это возьмется? Госкомитеты по культуре? Союзы художников или недавно созданные Союзы дизайнеров? Совет литовского профессора отклика у них пока не нашел. Ведь даже в резолюции XIX Всесоюзной партконференции не нашлось более требовательной, более конкретной формулировки, кроме привычной «... следует позаботиться...»

Кому? Когда? Как? Благо, хоть сказано — о чем...

«... чтобы национальности, проживающие за пределами своих государственно-территориальных образований или не имеющие их, получили больше возможностей (о, Господи, почему на семьдесят первом (!) году советской власти не получить все?! — М. Э.) для реализации их национально-культурных запросов, особенно в сфере образования, общения, народного творчества, а также создания очагов национальной культуры.»

Расплывчатое «больше возможностей» обернулось множественностью толкований.

Авторы проекта Концепции экономического и социального развития Латвии на период до 2005 года планируют «совершенствование международных отношений, (...) дальнейший мощный подъем культуры и сохранение культурного наследия как составной части всей социально-исторической многонациональной культуры».

Дума Народного Фронта требует защиты «жизненных интересов каждой проживающей на территории Латвийской ССР национальности, ее языка, культуры, традиций».

Общество балто-славян: каждому среднее образование на родном языке (!), представителей нацменьшинств — в руководство культурой (!), национальные общества — в политическую систему республики (!), культурные очаги — за госсчет (!), кадры для них готовить за счет средств из госбюджета (!), газеты — на родных языках (!).

Но беда в том, что голоса эти все еще разбиваются о китайскую стену системы.

Что сказать коллеге, Янису Петерсу, предложившему начать диалог латышей и евреев во имя гуманного сотрудничества в будущем...?

Уклониться, заметить, что будущее начинается вчера и перечислить, чем вчера евреи на территории Латвии владели?

Обратить внимание, что будущее прорастает в дне сегодняшнем? И диалог немого со златоустом, слепца со зрячим, поверженного с бодро шагающим — не диалог?

Предложить делом поддержать движение еврейского возрождения? Но Я. Петерс и сам понимает, как понял это еще в 1916-ом русский прозаик Л. Андреев, что еврейский вопрос — это вопрос русский, это и латышский вопрос. И не показушными песне-плясками на фестивалях мнимо-дружбы отвечают на эти вопросы. А предоставлением каждому народу, каждому племени и, в частности, еврейскому ВСЕХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (!) для развития подлинно национальной культуры, приобщения к фольклорным родникам, воссоединения с культурным наследием этноса: восточного, западного, азиатского еврейства. То есть всего того, на что мы имеем право с рождения. Или же надо открыто признать, что в государстве социалистическом мы этих прав лишены. И сказать кем. И доказать — почему. И объявить — как долго. Может быть — пожизненно!?

Миллионы выплаты ни подоходными налогами, сотни тысяч — профсоюзными взносами. А нам из той доли, что предназначена для удовлетворения национальных запросов населения, не вернули ни рубля. Не только не выстроили ни одного Дворца

культуры, не оснастили ни один фольклорный, эстрадный или театральный коллектив, но и отобрали все, принадлежавшие евреям здания, закрыли все газеты и издательства, опечатали театры и школы, заколо-тили музеи и клубы.

Прервали диалог! . . .

Начнем новый?

Диалог равных?

В добрый час . . . Ин а гуттер шо — по-еврейски . . .

Рассмотрим модель: Ассоциация «Шалом», что значит «Мир» на иврите. Юридически самостоятельная организация. С подразделениями. Со своими субсчетами в банках. Центр еврейской культуры «Тарбут» («Культура»). Центр всеобуча «Ду-сиах» («Диалог»). Центр кооперативного производства «Нисайон» («Опыт»). Спортивно-оздоровительный центр «Зинук» («Старт»).

Жизнь предложит и другие образования, как, впрочем, и формы.

Разрабатывая магистральные маршруты еврейской национальной жизни, Ассоциация евреев Латвии вступит в предлагаемый братскими народами диалог, не возбраняя каждому коллективному сочлену вести его по своей линии, вплоть до открытия совместных с зарубежными единоверцами предприятий.

Осаживают терпеливые: не все сразу . . . Ждали 71 год, подождем еще . . . Все нам дадут со временем . . .

Не дадут? Почему? Потому что дать — это безоговорочно признать правоту национального меньшинства. А все ли ее признают?

«В Советском Союзе, — без тени смущения выводит ученый М. Джунусов, — полностью отсутствует такое явление, как аккультурация, связанная с утратой человеком не только родного языка, но и обычаев, традиций, особенностей быта, песен, фольклора, то есть всей суммы специфических черт духовной и материальной культуры».

Чем не ария Нины из оперы «Не могу поступиться . . .»?

И как тут не вспомнить древних евреев: ложные свидетели у своих же нанимателей в презрении.

Но свидетельствуют. Чужие. Свои. Свои даже ревностнее чужих. Чтобы не заподозрили в симпатиях. И на этом поприще разница в социальном положении единомыслию не мешает. Генерал-полковник Д. Драгунский солидаризируется со слесарем В. Фишером, и наоборот.

Официальный антисемитизм в СССР? «Наша советская действительность, — парирует генерал, — полностью опровергает подобную ложь».

«Советская власть, — вторит слесарь, — уничтожила любые запреты и ограничения (. . .) Евреи стали органической составной частью советского народа».

Нет уж, адвокаты-соплеменники,

пора начистоту . . . Если государство устами М. Горбачева заявляет, что «истинный интернационализм, истинная дружба народов возможны только при глубоком уважении к достоинству, чести, культуре, языку и истории каждого народа», то нужно ли выдавать вымысел за истину . . .

«Есть два вида евреев, — едко определил еврейский прозаик И. Башевис-Зингер, — еврей — максимум и еврей — минимум.»

Минимумами мы уже были. Точнее, нас ими сделали. Не пора ли разогнуться в максимум?

Ведь не для того советское правительство проголосовало за создание «после потоков пролитой крови» еврейского государства Израиль, чтобы в собственном, многонациональном, ассимилировать еврейский народ. Да и не аморально ли, спрашивал в статье «Еврейский вопрос как русский» Д. Мережковский, освобождая дальних, угнетать близких? «Вне России освобождаем, а внутри угнетаем. Жалеем всех, а к евреям безжалостны. За что? (. . .) Если мы будем так поступать, нам перестанут верить все, нам скажут народы: — Вы умеете любить только издали. Вы лжете.»

Спустя лет тридцать эту мысль переиначит «местечковый мефистофель» Михаил Светлов: «Я, право, понимаю русских, — почему не любят евреев, но не могу понять — почему они любят негров?»

А вы, читатель, можете?

Вздыхаете?

Я вас понимаю . . .

Но вернемся к гипотетическим возможностям.

Ложь и гласность несовместимы. Обсудим открыто. И коллегиально. Даже выдумывать ничего не надо.

Устарело «Общество ремесленного и земледельческого труда»? Согласен.

Пугает Еврейское колонизационное? Не настаиваю.

Обойдутся эмигранты без Информбюро? Возможно, хотя правовое государство должно, на мой взгляд, консультировать выезжающих, ведь расставаться можно и друзьями . . .

Отдает политикой возрождение Союза для достижения полноравия . . . ? Риску оспорить.

И при всем при том есть в общественной жизни досоветских России и Латвии достижения бесспорные. Почему бы не дать вторую жизнь Еврейскому литературно-драматическому обществу «Кармаль», товариществу литераторов «Алеф» или Литературно-педагогическому кружку для еврейских женщин? Не воссоздать Комиссию для сбора архивных данных по истории евреев Прибалтики? Еврейское общественное собрание? Общество «Друг детей»? Не открыть клуб Бялика? Спортивное общество «Маккаби»? Не вернуться к издательской деятельности?

Воссоздав, возродив, вернувшись, открыв заново, мы не только не обострим межнациональные отношения, а наоборот гуманизируем их, содействуя самим образом жизни оздоровлению нравов. Чтобы уже не зарастали битым стеклом и консервной жестью еврейские могилы. Чтобы заговорили с пропитанных кровью стен рижского гетто мемориальные доски. Ликвидацией 25 000 его узников верховный руководитель «СС» и полиции на территории Прибалтики Ф. Еккельн заслужил особую благодарность Гимmlера. Профессиональному палачу доверили уничтожить в «Остланде» западно- и восточно-европейских евреев.

«О, — восклицал Иеремия, — если бы голова моя стала сосудом воды и глаза мои были источником слез! День и ночь оплакивал бы убитых из народа моего».

Но не к чему припасть уцелевшим землякам и родственникам: ни надписи, ни знака . . . И не скоро еще сменит Доску почета скорбный мемориал . . . Ни рубля на него рижская мэрия, разрешив строительство, выделять не склонна . . . Смирненно сносившие десятилетиями официальное надругательство, возвысимся ли чувством внутреннего достоинства над лакейской покорностью — заявим ли во всеуслышанье о своих правах?!

Или-или! «Общественно-политическая практика, — заметил на пресс-конференции в Риге кинорежиссер А. Сокуров, — настолько высокомерно отнеслась к духовной жизни народов и национальностей, что привела всех нас, существующих под одной крышей, к какому-то трагическому выбору».

Избежать его смертному нельзя. И по-моему, думай хоть год, от Рош Гашана и Йом-Кипура до Песаха и Шавуота пути три: один — туда, где «от врагов христовых» интересной прибыли желают; другой — в никуда, обрезав пуповину, связующую с этносом, вне которого, — убежден историк Л. Гумилев, — нет ни одного человека на земле; третий — к себе, долгий, жертвенный, благородный путь нравственного самовозрождения на земле, принявшей «отеческие гробы».

«С чего начать? — размышлял за долго до нашего с вами рождения хасидский мудрец Самуил (Шмелке) из Никольсбурга, — мир так безобразен. И я решил начать с моей страны, которую я все-таки знаю лучше, но страна моя так огромна».

Начну с моего города. Но мой город такой большой. Самое лучшее — начать с моей улицы. Нет, с моего дома, нет, с семьи. А, ладно, начну-ка я лучше с себя».

А вы, мои соплеменники, с чего или с кого начнете или уже начали вы? . . .

Рига, октябрь, 1988 г.

ЛИТВА В ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 193

ВИЛЬНЮС! ВОЕННЫЕ ГАРНИЗОНЫ...

В то же утро я полетел через Великие Луки и Ригу в Каунас. Вез с собой проекты двух договоров и две карты Литвы, на одной из них была отмечена часть передаваемой Литве территории Вильнюсского края со столицей Вильнюсом, на другой — линия, отрезающая литовскую приграничную полосу Германии.

Проект первого договора исполнял давние мечты литовского народа — возвращал отторгнутую Польшей столицу Вильнюс с частью той территории, которую Советский Союз признал за Литвой по Мирному договору 1920 года.

По проекту второго договора в Литве размещались военные гарнизоны Советского Союза — дамоклов меч над ее независимостью.

Конечно, шла великая война, ее предгрозовые вихри уже пронесли над Литвой — 22 марта 1939 года Германия отторгла от нее Клайпедский край. Литве пришлось отступить перед превосходящей силой и ожидать, что преподнесет завтрашний день в пропахшей порохом международной ситуации.

Теперь война в Европе в самом разгаре. Взоры всего мира обращены к ней.

После того, как Советский Союз договорился с Германией относительно Литвы, судьба ее как государства оказалась полностью зависимой только от Советского Союза, его доброй или злой воли. Если Советский Союз будет соблюдать — во время полета домой у меня в голове пронеслись оптимистические мысли — если он в самом деле будет соблюдать пункты договора о взаимопомощи, с уважением отнесется к независимости Литвы и прежнему договору, не будет вмешиваться во внутренние дела Литвы — такое невмешательство предусматривалось и проектом этого нового договора, то те десять лет (в первом проекте действие договора предусматривалось на десять лет), — говорил я себе, на которые вводятся в Литву советские гарнизоны, пробегут довольно быстро. За это время кончится война, которая, возможно, возвратит Литве Клайпеду, а после войны, глядишь, и самому Советскому Союзу покажется бессмысленным держать в Литве военные базы. Гарнизоны вернутся восвояси, и Литва по-прежнему заживет как независимое государство.

А Вильнюс!!!

Вряд ли повторится такой случай вернуть его!

А если это единственный шанс?!

Правда, мы получаем его под огромный залог, но если через десять лет этот залог окажется выкупленным, тогда Вильнюс безоговорочно останется за Литвой! Когда в Европе разгорелась такая война, залог вполне понятен и даже оправдан. Если, конечно, под этим не кроется коварных притязаний. Если...

Тем же самолетом летит из Москвы посол Финляндии в Советском Союзе Паасикиви с женой. Наблюдаю за ними издали. Он выглядит спокойным, в хорошем настроении. Счастливые люди, счастливая страна! Видно, у них нет таких забот...

Будущее показало, что забот хватило и им, и нам.

Советский Союз, разместив свои военные базы в Эстонии, Латвии и Литве, вознамерился насадить их и в Финляндии. Однако Финляндия отказалась подписать предложенный ей по этому поводу договор. 1 декабря 1939 года между ними началась война, завершившаяся Мирным договором 12 марта 1940 года. По этому договору Финляндия уступила Советскому Союзу Карельский перешеек с городом Выпури (Выборгом) и сдала в аренду на тридцать лет полуостров Ханко.

В Каунасе я доложил правительству о сложившемся положении. Между тем Латвия подписала в Москве договор о взаимопомощи, разумеется, с размещением советских гарнизонов на

своей территории. Чиновник из министерства иностранных дел Германии на запрос нашего посла о соглашении между Германией и Советским Союзом относительно присоединения части территории Литвы ответил, что Германия махнула рукой (Läßt diese Sache unter den Tisch fallen).

Если признать достоверными процитированные выше данные из французской энциклопедии, гитлеровская Германия за этот взмах руки, то есть за отказ от этой части чужой территории, впоследствии взяла с Советского Союза в возмещение семь с половиной миллионов долларов.

Литовское правительство приняло решение предложить Советскому Союзу заключить договор о взаимопомощи без введения советских гарнизонов на территорию Литвы в мирное время. Однако этот договор предусматривал тесное военное сотрудничество обеих стран в мирное время, чтобы в случае войны без промедления общими силами дать отпор врагу.

Таким образом по концепции Литовского правительства заключались бы два договора.

1. Договор о Вильнюсе — в таком виде, в каком его предложил Советский Союз.

2. Договор о взаимопомощи — без предварительного введения военных гарнизонов Советского Союза в мирное время на территорию Литвы, но предусматривающий, как упоминалось, тесное военное сотрудничество обеих государств.

В Москву на дальнейшие переговоры отбыла более представительная делегация. В нее дополнительно вошли заместитель премьер-министра Казис Бизаускас и командующий армией Стасис Рашикис. Возглавлял делегацию по-прежнему министр иностранных дел. В ее состав был включен, понятно, и посол Литвы в Москве Ладас Наткявичюс.

НАШИ СЛОВА — ЧТО ГОРОХ ОБ СТЕНКУ

К вечеру 7 октября делегация прилетела через Ригу в Москву, остановилась в гостинице «Националь».

В тот же вечер представители Литвы были приглашены в Кремль. Там их приняли Молотов, Потемкин, Поздняков.

Всю дорогу из Каунаса в Москву я мучился в поисках слов, которые бы проняли московских представителей власти, заставили их осознать и прочувствовать — введение советских войск на территорию Литвы, когда ни та, ни другая сторона не ведет военных действий, причинит ущерб не только Литве, чей суверенитет и достоинство народа оно нарушит, но и самому Советскому Союзу. Ведь сколько раз руководители Советского Союза по разным поводам сами публично клеймили размещение военных баз на чужих территориях, квалифицируя такие действия, как нарушение суверенитета, как постоянную угрозу тем государствам, на территории которых они находятся, а договоры о них — как неравноправные.

Какие доказательства надо привести, чтобы они прочувствовали и поняли бы, что добровольно составленный, равноправный пакт о взаимопомощи предоставил бы обеим сторонам гораздо большие гарантии безопасности, ибо заслужил бы одобрение всего народа.

И вот мы опять в Кремле. Сидим с Молотовым за тем же длинным столом заседаний друг против друга, в самом конце этого стола, неподалеку от открытых дверей в другое помещение. Справа от меня — Бизаускас, Наткявичюс, Рашикис. Слева от Молотова — Потемкин, Поздняков. Торец стола пустой.

Начинаю излагать свои тревожные мысли. Вспоминаю о прошлом Литвы, подчеркиваю, что это не какое-то новое образование, что литовский народ еще в давние времена жил независимо, что он любит свободу, что это свободолюбие в нем никогда не угасало.

* (Продолжение. Начало в № 4, 1989)

Вспоминаю царские времена, запрет литовской печати, как литовцев на своей земле отгесняли на последнее место. Перехожу к Мирному договору от 12 июля 1920 года, основанному на провозглашенном Октябрьской революцией принципе свободного самоопределения народов, договору, который был заключен свободно, без каких-либо элементов насилия, заключен на вечные времена.

Продолжаю говорить, какое благоприятное влияние оказало бы такое свободное и благородное заключение мирного договора на отношения между Литвой и Советским Союзом, которые со времени подписания договора и до последних дней были самыми лучшими. В Литве, — говорю я, — большой запас добрых чувств к Советскому Союзу. Провозглашенные Советским Союзом идеи о мирном сосуществовании народов о необходимости строить международные отношения на принципах права и законности были и остаются для нас своими и близкими. Литва всегда была лояльна по отношению к Советскому Союзу, никогда не участвовала ни в каких интригах, направленных против него на международной арене.

Подхожу к пакту о взаимопомощи. Говорю, что по убеждению Литовского правительства введение гарнизонов Советского Союза и размещение их на литовской земле в то время, когда ни Литва, ни Советский Союз ни с кем не ведут военных действий, посеяли бы семена недоверия и восстановили бы против Советского Союза, ибо литовский народ такое введение войск не может воспринять иначе, как оккупацию. Это приведет к появлению постоянного источника конфликтов между войсками, а также между введенными частями и гражданским населением. На международной арене пребывание чужой армии на территории Литвы поставило бы ее в положение зависимого государства.

Такое не оправданное никакими очевидными причинами введение войск одной страны на территорию другой страны ни к чему хорошему не приведет. Гораздо больше пользы безопасности и Советского Союза, и Литвы принес бы свободный оборонительный договор обоим суверенным государствам.

Молотов, вижу, слушает и одобрительно кивает. В сердце затеплилась надежда — а вдруг... Как позднее выяснилось, подобные чувства испытывали и другие члены делегации.

В дверях, что темнели в конце кабинета, возник Сталин. Хмуро подошел к столу переговоров. Видно, он слушал ход заседания в другой комнате. Мы встали, чтобы приветствовать его.

Я обратился к Сталину:

— В ваше отсутствие я излагал господину председателю (указываю на Молотова) точку зрения Литовского правительства на обсуждаемое нами дело. Если вы позволите, я коротко повторю свои аргументы.

— Хорошо, — отвечает он, — садитесь.

Мы сели, Сталин остался стоять.

Сжато повторяю сказанное перед его приходом. Не спускаю глаз со стоящего Сталина, который, вижу, с трудом сдерживается, прерывает меня репликами. Стараюсь быть кратким. Но и урезанную мою речь он отрубает, как топором:

— Вы слишком много доказываете!

Резюмирую:

— Правительство Литвы принимает идею пакта о взаимопомощи, однако предлагает свой проект договора, который, не нарушая независимости сторон, будет, по его убеждению, более действенной гарантией безопасности. Существенное различие между вашим и нашим проектом заключается в том, что, пока ход войны в Европе не делает это неизбежным, Советский Союз не вводит свои войска на территорию Литвы.

Ни Сталин, ни Молотов не проявили ни малейшего интереса к литовскому проекту договора о взаимопомощи. Гарнизоны должны быть введены. Напомнили вновь, что любое капиталистическое государство в таких обстоятельствах просто заняло бы Литву. Объяснили, что Советский Союз отнюдь не посягает на независимость Литвы.

На следующий день (это было, скорее всего 8 октября), поняв, что аргументы не играют никакой роли, я начал упрашивать Сталина во имя дружбы между Литвой и Советским Союзом отказать от введения своих гарнизонов на территорию Литвы.

Сталин сурово отрезал:

— Нет!

Тогда я заявил, что считаю свои полномочия исчерпанными, поскольку правительство Литвы уполномочило меня подписать пакт о взаимопомощи с Советским Союзом без постоянного пребывания гарнизонов советских войск на территории Литвы. Если Советский Союз не согласен с этим, наша делегация должна доложить своему правительству о создавшемся положении и запросить новые инструкции. Повторяю вопрос, который я задал в первую встречу. А именно: если, конечно, правительство Литвы в целом согласится с введением советских войск на территорию Литвы, не удовлетворится ли Советский Союз все-таки размещением своих гарнизонов только на возвращаемой Литве территории, то есть только в Вильнюсском крае.

— Гарнизоны должны быть и там, и там, — говорит Сталин. 8 или 9 октября московские газеты опубликовали сообщения с фотографиями о митингах и демонстрациях в Вильнюсе, который тогда находился под управлением Советского Союза. Тогдашних газет у меня под рукой нет, поэтому затрудняюсь сказать, чего требовали те манифестации. Думаю, что окончательного присоединения Вильнюса к Советскому Союзу, или, что по сути то же самое, установления советского строя, поскольку митинги другого содержания не могли бы состояться. (Когда я заново переписывал свои воспоминания, услышал от одного советского историка, что упомянутые митинги и демонстрации требовали присоединения Вильнюса к Белоруссии.)

Как бы там ни было, Молотов 8 октября обратил внимание литовской делегации на эти сообщения газет и добавил, что правительство Советского Союза не сможет долго успокаивать трудящихся Вильнюса и не обращать внимания на их требования.

— Желательно, чтобы вы еще сегодня получили полномочия на подписание договора о взаимопомощи, — завершил он свое предупреждение.

ПОДПИСАНИЕ

9 октября заместитель премьер-министра Казис Бизаускас и командующий армией Стасис Раштикис отбыли в Каунас сообщить правительству о ходе переговоров.

Правительство Литвы было поставлено перед таким выбором:

1) либо оно подписывает требуемый Советским Союзом Договор о взаимопомощи, предоставляющий Советскому Союзу право держать в оговоренных местах на территории Литвы гарнизоны условленной численности, и возвращает Вильнюс с частью территории Вильнюсского края;

2) либо оно не подписывает этого Договора и тогда не получает Вильнюса и вступает в гибельный конфликт с Советским Союзом. Во что мог вылиться такой конфликт, со всей очевидностью показывает опыт Финляндии, о котором упоминалось выше.

Поэтому правительство Литвы, осознавая сложившееся положение, выбрало первый вариант.

10 октября Бизаускас с Раштикисом возвратились в Москву с решением литовского правительства. Всей делегацией мы снова отправились в Кремль.

Казалось бы, теперь, когда литовское правительство приняло требования Советского Союза, затруднений быть не должно. Однако действительность оказалась иной.

В Кремль нас приняли Молотов, Потемкин, Поздняков. Сталина не было.

Молотов сообщил, что правительство Советского Союза решило два прежних текста договоров (о возвращении Вильнюса и о взаимопомощи) объединить в один — «Договор о передаче Литовской республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой».

Ознакомившись с этим новым проектом, делегация Литвы заметила, что и срок действия договора продлен до 15 лет. Однако этот срок касается только II—VII статей, устанавливающих обязанности о взаимопомощи обеих сторон. Статья о передаче Литве Вильнюса и Вильнюсской области (первая) — бессрочная.

Из дальнейших разъяснений узнаем, что и вводимый контингент войск увеличен. Пытаемся выразить недовольство этими изменениями, но Молотов, не вдаваясь в объяснения, заявляет, что так решил сам Сталин и потому никто ничего больше изменить не может. Он велит принести прежнюю редакцию со вписанными рукой Сталина поправками.

— Видите, — и протягивает мне этот сверхаргумент. Я обращаюсь к Молотову:

— Мы хотели бы вернуться в посольство посоветоваться.

— Советуйтесь здесь, дадим отдельную комнату.

— Нам удобнее в нашем посольстве.

Приехали в посольство, ищем комнату, где бы «безопаснее» посоветоваться.

Здание посольства мы арендовали из государственного жилого фонда Советского Союза, когда надо было что-то отремонтировать, приглашали московских мастеров. Сотрудники посольства были уверены, что здесь установлены тайные микрофоны. Ну, что ж... Может и вправду Молотов знал, что говорил, когда предлагал посоветоваться там же, в Кремле.

Признав, что говори не говори — ничего лучшего не придумаешь, «решили» поправки принять.

Вернулись в Кремль, кроме Молотова, Потемкина, Позднякова, нас ждал еще пожилой военный, представитель командования Красной Армии.

— Штаб, видите ли, для себя не прочертил линии передаваемой немцам пограничной полосы. Дайте им карту, которую мы вручили вам во время первой встречи. Они эту линию тут же проведут и карту возвратят, — сказал Молотов.

Вынимаю карту из портфеля и подаю военному, добавив:

— Только прошу не забыть вернуть.

— Конечно, конечно, перечертим и вернем.

Так мы эту карту и видели . . .

Входит Сталин. Молотов обращается к нему:

— С литовскими друзьями все уже улажено.

— Раз так, — отзывается Сталин, — пока канцелярия все подготавливает, можем здесь все вместе подкрепиться. Кстати, — добавляет он, — нам надо теперь назначить в Литву полномочного министра.

Поздняков после отзыва Карского был лишь поверенным в делах.

— Кого, по-вашему, а? — обращается к Молотову.

— Надо подумать, — отвечает тот.

Поскольку вопрос был задан при нас, я с улыбкой вставил: — Зачем далеко искать, есть же господин Поздняков, который уже хорошо знает Литву.

Поздняков смущенно мямлит что-то неразборчивое, до меня доносится только слово «устал».

— В тюрьме, что ли, сидел? — в лоб задает ему вопрос Сталин.

— Нет но . . . — и Поздняков упоминает какие-то семейные неприятности.

На другой конец стола переговоров приносят холодные закуски, напитки.

Входят Ворошилов и Жданов с небритой несколько дней щетиной. Мы закусываем, переговариваемся.

Сталин насмехается над послом Польши (по фамилии, кажется, Гжибовский), вознамерившимся, видите ли, выразить протест против вступления советских войск на территорию Польши 17 сентября; осуждает Рыдз-Смиглу, зачем тот удрал из Польши, бросив в беде свой народ. Вот тебе и вожды!

Ворошилов острит:

— Мы предлагали Риббентропу, чтобы Германия и Япония приняли бы нас в Антикоминтерновский пакт.

Ворошилов, видно, любил пошутить.

Тут входит тщедушный человек, наверное, из канцелярии, собирается что-то спросить. Сталин наливает ему полный стакан водки и протягивает:

— Пей!

Тот смущается, отнекивается. Сталин ему:

— Пей, пей, русский человек выпить любит.

Тщедушный канцелярист опрокидывает стакан и выпивает до дна.

Сталин предлагает ему закусить:

— Спасибо! Не надо! Зачем?

Сообщают, что договор готов, можно подписывать. Все направляются к огромному письменному столу Молотова. Впускают двух фотографов. Подписываемся, Молотов и я, причем только русский текст договора. Литовский еще не готов, его мы подписали назавтра вдвоем с Молотовым.

Теперь акт подписания увековечивают фотографы. За письменным столом стоят Сталин, Ворошилов, Жданов, Потемкин, Поздняков — с советской стороны. С нашей — Бизаускас, Раштикис, Наткявичюс.

Договор подписан. Возвращаемся к угощению. Сидим недолго за столом. Вроде бы пора и по домам. Поднимаюсь . . .

— Нет, нет, сидите! Пойдем еще в кино, — не отпускает Сталин.

И в самом деле, вскоре одеваемся, спускаемся на лифте вниз, проходим по кремлевскому двору. Прохладная ночь освежает. Мы со Сталиным идем первыми. Перед нами возникает небольшая и словно ссутулившаяся старинная церквушка. Сворачиваем к ее portalу.

— Тут ходил Иван Грозный, — говорит Сталин.

Ступени ведут вниз, будто бы в подвал.

Современное внутреннее убранство рассеивает вызванные внешним старинным видом реминисценции.

Поодаль от экрана редко расставлены скамейки — помнится, восемь или около этого. Рассаживаемся; Сталин с Бизаускасом, Ворошилов с Раштикисом, я со Ждановым. Молотова в церквушке не припомню — должно быть, его спустили домой. Справа от нас — ниша, вероятно, вместо бывшего бокового алтаря. В нише стол со сладостями и напитками. На экране — парад физкультурников. Затянутый, хотя, возможно, будь мы в другом настроении, приятный фильм. В конце концов появляется надпись: «Конец». Ну теперь-то домой, то бишь в гостиницу? Нет!

Сталин велит показать еще один фильм. Теперь на экране, если не запомывал, «Волга-Волга». По реке плывет пароход, заполненный молодежью. Веселятся. Поют. Жданов шепотом восхищается, объясняет мне. Однако все это едва достигает моего сознания. «Чтоб уж на этот раз кончилось . . .»

Кончилось.

Было уже за семь часов утра, когда мы наконец отбыли из Кремля в гостиницу. Спать? Не спать? Светло. Звоню официанту. Приходит вежливый, довольно молодой еще человек в белой куртке.

Здороваемся. Спрашиваю, не могу ли я получить утренние газеты и кофе.

Кофе — да, а газет еще нет. Сегодня почему-то запаздывают. Верно будет что-то чрезвычайное, — говорит он.

Газеты вышли только около полудня. На первых полосах — наша ночная работа, подписанный договор и фотография акта подписания.

В два часа в Кремле мы вдвоем с Молотовым подписали литовский текст договора. Молотов весьма обходителен.

Я упомянул об отъезде.

— О нет, нет! Мы своих друзей так не отпускаем. Устроим для вас еще прием.

ПРИЕМ

Около 17 часов в Кремле, в Георгиевском зале, дается торжественный обед. С советской стороны, помню, присутствовали Сталин, Молотов, Микоян, Ворошилов, Каганович, Булганин и другие, менее известные лица, с литовской стороны — делегация Литвы и персонал нашего посольства. В центре стола напротив друг друга сидят Сталин и Микоян. Мне отвели место справа от Сталина, слева от него — Молотов, дальше Наткявичюс. На другой стороне стола, справа от Микояна, — Ворошилов, за ним — Раштикис. Перед Сталиным стоит отдельная бутылка, в его бокал наливают только из нее. Поднимаем ничего не значащие тосты, беседуем. Микоян через стол мне говорит:

— Какой прекрасный город мы вам отдаем! Какое другое государство так поступило бы?

Сталин на это:

— Вильно им принадлежит по праву.

И велит Микояну сказать речь. Тот встает и пылко заявляет примерно следующее:

— Мы с друзьями умеем быть друзьями. Другим ничего не жалко. Но, — все распалаясь и показывая себе на грудь, — но на груди у сердца мы держим острый кинжал для тех, кто не оправдывает нашего доверия.

Каганович, сидевший справа от меня, сказал, что Вильнюс — город нелитовский, его население, дескать, в большинстве своем нелитовцы.

И тут откликается Сталин. Говорит, что в городах часто в силу исторических обстоятельств получают преобладание другие национальности, и надо смотреть на состав не самих городов, а того края, на который они опираются. Состав городского населения быстро меняется.

Какое-то высказывание Ворошилова Сталину не понравилось. Что он сказал, я не слышал, только заметил, как Сталин его оборвал. Ворошилов бросил на Сталина виноватый взгляд, а тот, повернувшись ко мне, заметил:

— Мы этих великодержавников пошлкали немало, пошллкаем и еще.

Зашел разговор и о правах союзных республик. Я спросил Сталина, могут ли они действительно, если пожелают, выйти из состава Советского Союза.

— Да, если пожелают, могут, но в каждой из них для того и есть Коммунистическая партия, чтобы они никогда этого не пожелали.

Скорее всего по этому поводу — как-то само собой вышло из разговора — я поинтересовался его национальностью.

— Да, — ответил Сталин, — по происхождению я грузин, но уже двадцать пять лет живу в России и теперь чувствую себя больше русским, чем грузином.

В тот же вечер мы отправились поездом на родину. На Белорусском вокзале нас провожали Молотов и другие советские ответственные лица с почетным караулом.

Везем Вильнюс и чужие воинские гарнизоны в Алитус, Пренай, Гайжюнай и Ново-Вильню.

Одна рука дает, другая — берет.

Неужели за горло?

Будущее покажет.

За окном мелькают российские леса пустынные осенние равнины, спокойные и дремотные. Этот покой усугублял тревогу, поселившуюся в нашей душе.

«На меня тяжело давил контраст между величавым покоем природы и глубоким потрясением в душе» (Э. Эррио, «Эпизоды», 1940—1944).

Так председатель Национального собрания Франции вспоминал путешествие из Парижа в Вуврэ, когда после занятия столицы немцами парижанам пришлось уезжать. Хорошо, еще было куда . . .

ПРИВЫКАЕМ К ГАРНИЗОНАМ ГРОМ С ЯСНОГО НЕБА

После подписания Договора о взаимопомощи гарнизоны Советского Союза тут же последили разместиться в Ново-Вильне, Гайжюнай под Ионавой, Пренай и Алитусе. В связи с их устройством каждый день возникало немало вопросов, но обе стороны проявляли добрую волю, и все решалось быстро и ко взаимному удовлетворению.

Поздняков был возведен в ранг чрезвычайного посланника и полномочного министра.

Тревога улеглась. Жизнь пошла своим чередом. Пока шли переговоры — какие бы они ни были — мы отстаивали свои позиции и взгляды, но теперь договор вступил в силу и Литовское правительство было полно решимости лояльно и беспрекословно его выполнять.

Однако твердых убеждений, что другая сторона будет на деле соблюдать статью VII о суверенных правах и невмешательстве во внутренние дела, в глубине души не было ни у нас, стоявших у власти, ни у рядовых граждан.

По различным поводам как представители правительства мы утешали публичными заявлениями общественность (могу добавить — и самих себя), уверяли, что Литовское государство остается, как и прежде, независимым и полностью суверенным. Наши заявления дублировала советская печать, тем самым как бы выражая одобрение.

Хотелось на те тревожные вопросы получить ответ от правительства Советского Союза, побеседовать с его представителями, узнать, о чем они думают, чем недовольны, каковы перспективы отношений обоих государств.

Этой мыслью я поделился с Поздняковым, спросил, если я неофициально отправлюсь в Москву, то могу ли надеяться на встречу со Сталиным и Молотовым. Поздняков, надо думать, сообщил об этом в Москву, но оттуда ни звука в ответ...

В 1940 году в середине мая зашел ко мне, в Министерство иностранных дел, прибывший из Москвы генеральный секретарь Наркомата иностранных дел Соболев. Сказал, что объездил гарнизоны в Эстонии, Латвии и Литве.

— И в Эстонии, и в Латвии все дела в порядке, но лучше всего у вас, в Литве, — с удовлетворением заявил он.

В ответ я сказал, что очень приятно слышать такое признание и добавил, что Литовское правительство уделяет этим делам много внимания и стремится, по возможности, вопросы, возникающие у советских гарнизонов, решать без проволочек и приемлемо для обеих сторон.

Вскоре прибывает в Литву советский генерал Локтионов и тоже заходит в Министерство иностранных дел, ко мне. Выдержанный, вежливый — обычный визит. После ничего не значащих слов о дороге, генерал рассказывает, что советских военнослужащих завлекли в какой-то подвал, где их несколько дней продержали. Потом вроде бы двоим из них удалось по канализационным и водосточным трубам из того подвала сбежать и вернуться в свои гарнизоны.

До сих пор в памяти живо впечатление, что все это генерал излагал совершенно спокойно, без тени волнения или возмущения, как пересказывают где-то слышанную странную историю или анекдот. Никакого оттенка демарша, претензий или требований.

Должен признаться, и я принял эту вест как некий несмешной анекдот — возможность чего-то подобного выглядела невероятной.

По правде говоря, не верю этому до сих пор — и особенно потому, что советская сторона, обвинив позже правительство Литвы в этом пресловутом нападении, всеми силами старалась избежать, как увидим дальше, его расследования.

Генералу Локтионову я заявил, что его рассказ звучит так фантастически, будто его заимствовали из «Тысячи и одной ночи». Он усмехнулся, усмехнулся и я, мы перекинулись еще парой слов и генерал Локтионов, попрощавшись, ушел.

25 мая 1940 года Молотов вызвал Наткявичюса в Кремль. Принял посла Литвы холодно, даже враждебно, от бывшего дружелюбия не осталось и следа, и произнес, что должен сделать письменное заявление от имени Советского правительства. Взял со стола письмо, зачитал его вслух и подал Наткявичюсу.

Такова экспозиция трагического сценария.

Правительство Советского Союза заявило:

- 1) что недавно из расположенных в Литве советских воинских частей опять исчезли двое военнослужащих;
- 2) что Советскому Союзу дополнительно известно, что «исчезновение» военнослужащих организовали лица, пользующиеся покровительством Литовского правительства, они вовлекли красноармейцев в преступление и потом подготовили побег или уничтожили их.

Далее излагалось, что правительство Советского Союза, считая подобное поведение литовских органов провокационным и чрезвычайным тяжелыми последствиями, требует, чтобы Литовское правительство приняло немедленные меры к прекращению провокационных действий, которые якобы выполняют известные этим органам агенты, к розыску исчезнувших советских военнослужащих и выдаче их командованию советскими гарнизонами в Литве.

В конце письма добавлялось, что правительство Советского Союза ожидает от правительства Литвы принятия шагов для удовлетворения его требований, иначе оно будет вынуждено само принять другие меры.

Заявление, как нетрудно заметить, нафаршировано тяжкими, но голословными и провокационными обвинениями. Да еще сопровождалось угрозой принять иные меры!

Однако конкретных и явных данных или указаний, которые бы помогли начать розыск, в нем не приводилось.

Создавалось такое впечатление, что Сталин с Молотовым намеренно искали, к чему бы придраться.

Мы собрались у президента республики — премьер-министр, министры обороны, внутренних дел и иностранных дел. Министры обороны и внутренних дел утверждают, что им ничего не известно ни о каких «агентах, опекаемых» их ведомствами, занимающихся «провокационными действиями».

Как может правительство прекратить провокационные действия, которые ему неизвестны и о которых не сообщается никаких сведений?

Министры обороны и внутренних дел все же получили поручение строго проверить находящиеся в их ведении органы и выяснить, не было ли в действительности чего-либо подобного содержащимся в заявлении Молотова утверждениям.

Проверили, выяснили. Нет. Ничего подобного этим органам не известно.

Решено было обратиться к правительству Советского Союза с просьбой предоставить дополнительные сведения о вменяемых преступлениях, которые бы дали, как говорится, конец нити для розысков.

26 мая советскому полномочному министру Позднякову была вручена нота, в которой сообщалось, что Литовское правительство не располагает какими-либо данными об инкриминируемых преступлениях, однако выражает согласие незамедлительно провести самое тщательное расследование по выдвинутым обвинениям и просит предоставить с этой целью необходимые данные, прежде всего с указанием органов и лиц, которые имеются в виду в заявлении Молотова.

На эту ноту Молотов отозвался переданными через полномочного министра Литвы в Москве Наткявичюса примерно такими словами:

— Нотка Урбиса не производит серьезного впечатления.

Никаких данных, которые бы позволили нашим органам приступить к расследованию, он и не собирался давать, подчеркивая свое неудовольствие. Разгневанный (вправду или только стараясь таким казаться), враждебный, нетерпеливый, он все повторял, что не дождался от литовского правительства никаких шагов.

Какие шаги ему были нужны? Пожалуй, только Бог да он со Сталиным знали об этом.

«Любое империалистическое государство заняло бы Литву, и все. Мы этого не делаем. Мы были бы не большевиками, если бы не искали новых путей», — совсем недавно, как я уже упоминал, говорил Молотов.

Пути-то новые, хотя и не слишком, но куда они ведут — не туда ли, куда и старые? ..

Атмосфера день ото дня сгущалась (точно так же поступали и Риббентроп с Гитлером перед тем, как отторгнуть Клайпеду), позволяя напустить все больше дыма в отношениях между двумя государствами, видимо для прикрытия тех новых путей.

Тогда в Европе и не требовалось особой дымовой завесы. Развязанная гитлеровской Германией война ширилась, всем хватало собственных забот. Мало того, Запад только и ждал, чтобы Советский Союз двинулся в сторону Германии — глядишь и столкнется, тогда остальным легче будет.

Официальное советское издание «Фальсификаторы истории» (1948) на странице 63 так изображает и оправдывает вступление советских войск в Литву 15 июня 1940 года: «12.III.1940 года был подписан советско-финский мирный договор.

Таким образом было улучшено дело обороны СССР против гитлеровской агрессии также и на севере, в районе Ленинграда, с отдвижением линии обороны на 150 километров севернее Ленинграда до Выборга включительно.

Но это еще не означало, что уже закончено формирование «Восточного» фронта от Балтийского до Черного моря. Пакты с Прибалтийскими государствами были заключены, но там не было еще советских войск, могущих удержать оборону. Молдавия и Буковина были формально воссоединены с СССР, но и там не было еще советских войск, могущих держать оборону. В середине июня 1940 года советские войска вступили в Эстонию, Латвию и Литву. 27 июня того же года советские войска вступили в Буковину и Молдавию, оторванную Румынией у СССР после Октябрьской революции.

Таким образом было кончено формирование «Восточного» фронта от Балтийского до Черного моря против гитлеровской агрессии.

Вот почему Советская Армия вступила на территории независимых суверенных государств — Литвы, Латвии и Эстонии. Видите ли, потребовалось улучшить «дело обороны» Советского Союза против гитлеровской агрессии (тогда еще только предполагаемой, ведь началась она лишь через год).

Однако как странно выглядело это «улучшение обороны» — были нарушены все действовавшие договоры, оккупировано и аннексировано ни в чем не повинное соседнее государство.

Уничтожена армия этого государства, которая в соответствии с договором о взаимопомощи вместе с советскими войсками могла бы выступить против гитлеровской агрессии.

Распущен государственный аппарат.

Развалено хозяйство.

В народе посеяны семена страха, ненависти и мести.

Разжигалась рознь, чтобы расколов, было легче управлять занятой страной (разделяй и властвуй!)

Руководящие и просто честные, преданные родине патриотические силы государства, нации и общества, их семьи были обращены в париев, заложников, репрессированы, высланы.

На север высылают всех,

За чью вину, проступок, грех? *

Однако вернемся к происходившему весной диалогу между Советским Союзом и Литвой, напомиравшему, как мы видели, басню о волке и ягненке.

28 мая 1940 года Литовское правительство вручило новую ноту правительству Советского Союза, в которой информировало его, что назначило специальную комиссию для выяснения советских обвинений и повторно просит предоставить сведения, без которых эта комиссия не может приступить к работе; вместе с тем Литовское правительство предложило, чтобы в работе комиссии приняли участие и представители советских гарнизонов в Литве.

Однако чуть ли не в тот же день ТАСС сообщил об обвинениях Советского Союза в адрес Литвы. Положение стало трагическим. День за днем Сталин с Молотовым терроризируют Литовское правительство претензиями и обвинениями, которые, поскольку авторы обвинений саботируют розыск и выяснение обстоятельств и не проявляют в этом отношении доброй воли, оно не в состоянии ни проверить, ни расследовать. Литовское правительство, стремясь разрядить атмосферу и все еще надеясь вернуть отношения в нормальное русло, со своей стороны не выступало с какими-либо публичными заявлениями, поскольку не могло сделать ничего иного, как только отрицать брошенные ему обвинения и, следовательно, войти с Советским Союзом в открытое столкновение или даже конфликт. Понятно, что такая вынужденная сдержанность Литовского правительства на фоне открытых и категорических обвинений другой стороны вызвала озабоченность у общественности Литвы.

В заявлении ТАСС, правда, был упомянут и один подлинный случай, происшедший с Бутаевым. Этот командир убежал из своей части и где-то скрывался. Командование советскими гарнизонами обратилось с просьбой, чтобы органы Литвы разыскали Бутаева и доставили его в часть. Литовская полиция долго не могла напасть на след, тем более что нельзя было объявить всеобщий розыск. Наконец было обнаружено место, где он скрывался. Полиция потребовала, чтобы Бутаев пошел вместе с ней, но тот выпрыгнул в окно. Полицейские бросились вдогонку. Поняв, что убежать не удастся, Бутаев застрелился. О событии было тут же доложено командованию советскими частями в Литве, оно прислало на место происшествия свою комиссию. Та составила план местности и забрала труп Бутаева. Поначалу решили, что он стрелял себе в рот, поскольку кровь текла изо рта, но, после того как советские органы осмотрели труп и сделали вскрытие, выяснилось, что он стрелял в область сердца. Вначале высказывались сомнения, застрелился Бутаев сам или его застрелили, но советская комиссия после вскрытия признала, что он сам стрелял в себя. Тем самым этот весьма неприятный инцидент и был тогда исчерпан. Теперь же ТАСС присовокупил его к своим инсинуациям.

УЛЬТИМАТУМ. ОККУПАЦИЯ.

Литовское правительство приняло решение направить в Москву министра иностранных дел, чтобы он наконец выяснил, чего же в конце концов требуют от Литвы. Я сообщил об этом Позднякову. Спустя несколько дней Натквичюс из Москвы телеграфировал, что Молотов желает побеседовать с премьер-министром.

7 июня в Москву прибыл премьер-министр Литвы Антанас Меркис. Его визит продолжался до 12 июня. За это время он неоднократно встречался с Молотовым. Тот на сей раз взял с потолка новое обвинение: Литва, мол, заключила с Латвией и Эстонией военную конвенцию, направленную против Советского Союза. Гольф вымысел: Эстония и Латвия, еще вступив в борьбу за независимость, заключили между собой военную конвенцию, которая была обнародована и давно всем известна, прекрасно знал об этом и Советский Союз, когда подписывал с упомянутыми государствами договоры о взаимопомощи; однако Литва никогда не присоеди-

нялась к военной конвенции Латвии и Эстонии и никаких других военных договоров с ними не заключала.

11 июня литовское правительство в помощь А. Меркису направило в Москву министра иностранных дел. В тот же вечер нас принял Молотов. Мы разъяснили, что, как всегда было до сих пор, так и особенно в телерешней международной ситуации, Литва стремится к дружественным отношениям с Советским Союзом, основанным на взаимной лояльности и соблюдении договоров. Молотов не желал даже слушать наших речей.

12 июня А. Меркис вылетел в Каунас, оставив меня в Москве. Пытаемся с полномочным министром Натквичюсом достучаться в другие двери — может, услышим что-нибудь более вразумительное.

Едем к заместителю наркома иностранных дел Деканозову, тому самому, который позднее в Литве будет распоряжаться ее аннексией, а после второй мировой войны вместе с Берией будет расстрелян.

Заговариваю с ним о наших делах, чтобы узнать, чего же добивается Советский Союз от Литвы.

— Этим делом, — отвечает мне Деканозов, — теперь занимается само правительство.

А от себя он не может ничего ни прибавить, ни убавить.

Из Каунаса я привез послание президента Антанаса Сметоны, адресованное Председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Ивановичу Калинин. В этом послании президент республики торжественно заверял, что Литва верна традиционным дружественным отношениям между двумя государствами и в отношении третьих государств не брала на себя ни открытых, ни тайных обязательств, которые бы противоречили этим отношениям или договорам между Литвой и Советским Союзом.

«Правительство Литовской Республики и я сам всегда прилагаем, прилагаем и в будущем приложим усилия, чтобы этот (от 10 октября 1940 года. — Ю. У.) договор самым лояльным образом выполнялся», — писал в этом послании президент Литовской Республики.

Попросили с полномочным министром Натквичюсом приема у М. И. Калинина. Принял. Вручил послание. Прочитал.

— Этими вопросами теперь занимается Советское правительство, и я не могу в них вмешиваться, — примерно таким был ответ этого высокопоставленного лица.

(Продолжение следует)

Перевели Л. ЧЕРНАЯ и В. ЧЕПАЙТИС

* Здесь и далее приводятся цитаты из «Дзядов» А. Мицкевича.

ЮРИЙ ПАНЧЕНКО

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ВИКТОРА

Вступительная часть

Я посмотрел, как сделаны и называются всякие другие научные и литературные книги, и придумал, что без вступительной части не надо. Хочу написать про жизнь всю правду молодым в науку, для знаний настоящих. А самые лучшие названия в Библии, и пускай моя книга тоже так называется, похоже на Библию. Для Библии давно никто продолжение не сочинил, а раз она самая главная книга, люди говорят, то продолжение нужно, да теперь о жизни нашего общества, на современных фактах и материалах, как в газетах указывают. Только я не знаю, всяким Иоанам и Павлам книги бог продиктовал, или они сами придумали? Недостаток школьного образования в нашей стране, что про это не учат. Я книгу придумываю сам, писать решил навроче дневника да во все стороны отклонения устраивать, в годы прежние всякие и в размышления философские, научные тоже, и с разными заветами, как правильно чего нужно.

Мне семьдесят с лишним лет, жизнь прожил большую по событиям и по возрасту. Людей повидал простых и генералов, так кой-чего, вот и есть о чем говорить-рассказывать, заветы давать, как правильно чего нужно. У меня, кто книгу печатать станет, вычеркивать и переправлять нигде не лезь: а). знаю я законы и автора права тоже. б). когда и повторю дважды те же слова — помни, для памяти.

Зовут меня Виктором Николаевичем. Семья была, сейчас один живу. Жена умерла, а сын работает моряком во Владивостоке, в Японию плавает. А я один привык. Приходит знакомая старушка, одинокая, жилплощадь имеетя, без вредных привычек, образование высшее, пенсионерка республиканского значения. Не склонная к полноте, политически грамотная и занимающая верную платформу. За границами не была. Помогает забрать из прачечной все для постели и белье мое, одежду. Иностранными языками не владеет. Судимостей не имела. Национальность — русская, только дед со стороны отца был мордвином, а так — русская. Социальное положение у нее как бы интеллигентское, да зато социальным происхождением из крестьянок. Прописана в соответствии с существующим законодательством, от общественной работы до самой пенсии и немного после не уклонялась. Помогает вторично отглаживать рубашки. Я ей нравлюсь, когда в глаженной рубашке и чтобы галстук. От уплаты партвзносов не уклоняется. Так. Дальше буду писать вроде как дневники, и размышления, по выражению маршала Жукова, и воспоминания, и как правильным путем жить нужно. Нерусское слово мемуары мне не нравится совсем, пускай как в Библии будет, поучения и заветы. Верю глубоко, наставления нужны для всех тех умных, кто хочет жить хорошо и орденов достойно. Пока вступление заканчиваю.

1988 год, город Москва. Летом пишу. Погода стоит хорошая. Утром выпил две чашки чая, кушал хорошо, с аппетитом. Вчера на заказ дали:

- а) Сгущенное молоко — 2 банки.
- б) Курица венгерская — 1 штука.
- в) Колбаса венгерская салями — 1 палка.
- г) Сосиски молочные — 1,5 кг.
- д) Паштет рыбный производство Норвегия — 1 банка.
- е) Перец фаршированный производство Болгария — 2 банки.
- ё) Горошек зеленый — 2 банки.
- ж) Икра черная — 1 баночка.
- з) Шпроты — 1 баночка.
- и) Коньяк 5 звездочек — 1 бутылка (грузинский).
- к) Водка русская — 1 бутылка.
- л) Редис свежий — 0,5 кг.

Примечания: на такси для доставки продуктов истрчено 1 рубль 72 копейки. Плюс за посадку, сказал шофер, автоматически 20 копеек. Надо было позвонить в гараж, попросить помочь ветерану, заслуженно находящемуся на отдыхе.

1988 год. Через два дня пишу. Сейчас я живу в столице нашей Родины орденосном несколько раз городе Москве. Родился я не так далеко отсюда, в городе... секретно, говорить не нужно до сих пор. Фамилия моя для всех тоже секретная, до скончания моего века и дальше тоже. Я думаю, лучше навсегда. Я смотрел в Библии, у всяких Иовов и Павлов с Матфеями тоже нет фамилий, они, значит, всегда были секретными. Так что ничего, не обидно. Раньше тоже обидно не было, раз на работе состоял не для любого и каждого в должности, а кто знает да помалкивает.

Гляжу я на фотографию в газете современной, от позавчерашнего числа. Могила откопала около Минска в лесу, советской пулей кто-то застреленный еще до войны. И чего осталось от человека? Позвоночник изогнутый лежит, кости кой-какие. По черепу лица не представить, а по хребту — мышцы какие были наращены, и толстый или средний, или худой, и чего в жизни любил. Пустяк от человека остался, так может он был вовсе не нужный в жизни? Ломоносова я костей не видел, а что он делал знаю, а тут чего? Кости одни остались. Костяком, остающимся от человека, пусть станут его, говорю я. И сказал я: пусть дело человека останется, пусть улечутся плоть и душа. В отличие от Библии я вслед сказал, выводы потому что делаю, заветы.

А чего-то мне и не верится, что внутри всякого человека есть кости. Чего-то люди многие были... пока секретно, позволю куда следует и спрошу, И не верится, а глянул в окно. Там идут сплошь скелеты, во всех скелеты вижу. Шелестят, хотя в обуви. В машинах тоже черепа едут. Я на фотографии разрытой могилы много смотрел и она на меня действовала, я понял. Перенес впечатления на соседний объект, читал в какой-то книге. Вот гляжу на любого, вроде говорит он и кожа на месте, а я как рентгеновский аппарат, черепа вижу и позвоночники, и ребра. Надо выпить стакан водки и выспаться.

1988 год, летом пишу. Плохо мы сейчас начали жить, плохо. Народ силы власти нисколько не чувствует, говорит чего хочет. Партия какая-то новая запрещенные митинги устраивает, она Демократический союз называется. И органы госбезопасности в настоящее время хуже некуда стали, митинги всякие допускают. Горбачев никудышний руководитель страны, никто его не боится. Я его честно, как коммунист с большим партстажем, осуждаю. Такое отношение к товарищу Сталину допустил, в газетах разрешил такое вранье печатать! А разных гадов, душегубов, врагов народа в святые повытаскивал. Надо проверить. Наверное, он сам враг народа, тайный враг КПСС и держит тайно зло против любимого моего первого в мире социалистического государства, строящегося в пример всем народам мира коммунизм. В строительство социализма в нашей стране я в свое время успешно внес свой личный вклад. Новый мой завет всякому молодому человеку: и сказал я. И сказал я: не верь никому, хоть он и на большом посту, верь одним идеалам революции. А Горбачева надо проверить серьезно. Прийти и спросить строго, по-партийному. Ты, сказать, Михаил, с американским президентом когда встречался, часом не договорился государство социалистическое подорвать изнутри? Миллионов сколько тебе посулили, а, Михаил? То-то! Отвечай, раз сам гласность объявил.

1988 год, сейчас пишу. С утра начался дождь, остановился. Я дальше не буду года ставить, потому что прежде дневник не писал, а нужно время прежде раскрывать во

всей его красочности и полноте, в книжке одной читал. Так как точно вспомнить, в который год и день было происходило?

Я — боец старый революционной закалки. Ветеран революции, ветеран партии, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда. Четырежды ветеран, выходит. Хотя в самой революции участия не принимал по причине сильно молодого возраста. Конец гражданской войны захватил в качестве участника боев. Помню, где-то мы на Украине кажется городишко у белых отбили, ночевали в нем первую ночь. Утром выстрелы, кричат где-то. Мы туда. Там на улице не бойцы-солдаты наши, а местные какие-то, что ли, гражданские люди погром евреям начали. На моих глазах выбегает мужик из дома, о стенку кирпичную головкой хрясть ребеночка еврейского, за ножку его держал. Мозги из головочки потекли, пятном на стене кровавым жизнь ребеночка еврейского сделалась. Ах, гад! Я-то верхом был. Как дал рядом с ним из винтовки! Беги, говорю! Гад, гад, до сих пор его помню, ребеночка убивал. Побежал он. Вперед своей головы под саблей моей смог шага три пробежать, будто курица из-под пальцев сжатых. Нет, ну гад! Ребеночка, беззащитного бить. Мы погром тот быстро остановили. Вот когда я окончательно уверился в святых целях нашей революции. Святые цели, по завету моему, такие. Беззащитного защиты. А на национальности не обижайся, не надо. С Горбачева еще требуется спросить. Ты, скажи, Михаил, почему в центре Москвы у памятника Пушкину позволил гебельсовские речи говорить молодым гадам из какого-то общества «Память»? Я лично в газете читал. Чего они от евреев Россию освобождают требуют, куда глядишь? Я сам читал, так что, Михаил, не отпирайся.

Дальше, чтобы на дневник хоть как-то походило, стану номера записей делать, как в Библии. Если получится, пускай и параллельные места будут, раз главная книга мне примером. Чего читали, пускай номером первым называется. Первая сура, если на азиатские языки станете переводить. По ихнему Корану пускай.

2. Сейчас точно не сказать, было в двадцатых годах. Раз я разговорился с командиром своим, какую мне специальность для жизни приобретать. Мы тогда кажется в Тамбовской губернии лишнее зерно забирали, помогали создавать колхозы товарищу Сталину, претворяя решения партии в жизнь. Командир говорит, специальность у нас есть, боец революции называется. Будем, говорит, несменяемыми защитниками мирового социализма. После мы с ним в Москве оказались. Я в первый раз на курсах специальных читать и писать научился, и политграмоте нас обучали.

3. Нам дали особое задание. Мы стали ходить в штатской одежде, глядели с командиром, куда отправится один очкастый. Говорил командир, пробрался очкастый в партию большевиков разрушать изнутри и называется оппортунистом, потому что на самом деле все назад хочет, пусть бы рабочим плохо жилось и не во дворцах нам жить. Командир говорил, очкастый тот на каких-то собраниях против руководства партийного большевиков выступает. Мы, говорил мне командир, являемся боевой ячейкой партии, нам оказано высокое доверие, охолонить сказали интеллигент-оппортуниста проклятого. От интеллигентов, раз они всегда все знают, всегда вред. Мы в подъезде у очкастого лампочку убрали, подождали. Он сунулся, ну и получил по очкам как следует. Кастет у меня настоящий был, с треугольными впереди выступами. Он тогда кто тут, да кто тут, кричать попробовал. Получил, так и все. Командир говорил, надо не до беспамьяства бить, а побить хорошо так, больно, и спрашивать: а ты не будешь против руководства большевистского поперек? Не нравится тебе Советская власть?

4. И сказал я: взрослые интеллигенты глупые, что дети. Дитя неразумное побей маленько, в наказание, когда толка от него найти хочешь, а интеллигента взрослого побей сильно но и спрашивай, будет ли он вредить? Будет ли? От интеллигентов и сегодня вред, хоть в газетах почитай про Карабах и Прибалтику. Вечно они больше других

знают и везде выставляются. Дай по морде и на место поставь, в общий строй сознательного народа.

5. Много раз я пробовал. По лампочке электрической шелкнешь, и светит сильнее. Так же по черепу интеллигенту кастетом дашь, мозги сотрясутся, и не умнее ли он станет в какую нужно сторону? Надо у врача знакомого спросить, что-то в те года говорили по телу бить, не по голове. Только сейчас понял: они умнели бы, если бы по голове. Намного сильнее умнели бы.

6. Под руководством партии Ленина-Сталина в тяжелых боях с царизмом и белогвардейщиной пресловутой трудящиеся классы России и всего социалистического государства добились полной победы и начали строить счастливую мирную жизнь. Жить стало лучше, жить стало веселей, сказал великий Сталин, верный ученик Ленина. А некие гады, оппортунисты-интеллигенты, хотели повернуть историю вспять. Вот сейчас призывают наполнить содержанием белые пятна истории. И я наполняю, говорю, что по правде было. Раз у меня специальность была такая, защитник революционных завоеваний, я и защищал всеми силами. На собрания разные нас водили. Нам сигнал подадут, и топчем мы ногами, с трибуны оратора гоним. Один говорит: не топай, товарищ Крупская на трибуне, Ленина бывшая жена. Ври, говорю, больше. Он не знаю куда подевался, больно умный был.

7. Тогда все правильно делали. Умно такого приведут куда надо, к следователю. Сидят, беседуют с ним. Я сзади стою. Следователь знак подаст, в затылок возьму да выстрелю. Диван у нас кожаный был, ничего. Тетя Маша придет, диван замочит, вот и все.

8. Я подумал тогда, да по другому службу исполнять начал, крови чтобы поменьше на диван брызгало да чтобы случайно пуля в следователя не попала. Следователь как знак подает, наставлю наган сверху, чтоб через голову пуля в хребет ушла, а он, дурак новый, сидит и догадаться не успеет. Работа у меня была легкая. Кто увозил да закапывал, те жаловались, мертвяков боялись. А чего бояться? Враг сокрушен, чего мертвый сделает?

9. Фамилию не помню. Один говорил перед следователем, что на том свете нас призовут к ответу. Того света нет, сказали ему. Он говорил, невинно убиенные сниться станут, покоя совести не дадут. Понимал он все неверно. Без вины к нам кто попадал? Дурак он, в нашем учреждении служил а говорил такое. Он признаваться в подрыве нашего учреждения изнутри не хотел, у него вроде костей в теле не было, кроме хребта и черепа. В остальном идикий стал, телом. Жалко его. Сам все видел и знал, за что идет честная и неподкупная борьба, а куда полез со своими разговорами? Лучше человеку не думать в лишнюю сторону.

10. И сказал я: правым один человек против государственной политики строительства социалистического общества не бывает. И сказал я: как любой человек нарождается на свет в крови и боли матери, так и государственный новый строй нарождается, кровь проливая и плоть ненужную уничтожая.

11. Еще скажу я: дом когда снесут, пустырь поначалу чертополохом зарастает, мусорной всякой травой. Затем происходит окультуривание почвы. Так и со строительством нового государства. Уничтожать надо чертополох людской всегда, дорогу чтобы дать светлому будущему. Трудную мы работу делали, а сейчас наглые всякие неблагодарно нас осуждают и требуют над нами суда. Свиньи неблагодарные, говорю им я.

12. Чего-то, пока в командировке я был, за Урал месяца два возил арестантов и кое-где кое-что начинал — секретно, — других пока обучал там, что-то следователь мой куда-то делся. То есть прежний мой начальник. Я тогда старше по службе стал и с одним врагом арестованным, инженером, гадом-шпионом, изобретал гильотину революции с условиями такими: а) поддон вогнутый для тела осужденного со стоком для крови и другой всякой жидкости. б) крепления твердые для рук и для ног. в) замок нашейный с прорезью для карающего лезвия. г) нож отсекающий в виде революционного карающего меча. д) приемник отсеченной головы. е) приемник усеченного

тела. ё) транспортирование отделенных частей тела. ж) транспортирование очередного приговоренного в подготавливаемом к отсечению головы положении. з) уничтожение остатков.

13. И сказал я: трудно первому идти путем новым, без опыта изобретения технических устройств. Изобрести получилось, а сказали, что денег надо много для строительства комбината революционной мести. В одном городе (секретно) мои подчиненные и я мясокомбинат с электрической бойней хотели перепрофилировать, выражаясь современным языком, да лучше кто-то придумал вперед меня, грузить врагов на старые корабли и оттаскивать в Ледовитый океан, чтобы сама природа очищала страну от диверсантов, вредителей и шпионов, всех врагов народа. Плохо придумали, скажу задним числом, потому что в Ледовитый океан так много зубов золотых уплыло и пропало там, когда страна в деньгах на строительство социалистической промышленности нуждалась. Корабли старые, говорили тогда, быстро кончились, и ошибка прекратилась, а то бы еще сколько без пользы золота из страны ушло? Так ведь нельзя.

14. В книге Библия какой-то без фамилии пророк, то есть автор Иеремия правильно сказал: «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?»

Библию, существует расхожее мнение, трудно правильно понимать. Я понимаю. Пророки — это интеллигенты, они всегда умничают непонятно для простого народа, врут чего-то, значит. И тогда врал, гады. Буйным чертополохом разрослась рядом с ними религия. Жалко, что мой народ вранье любит. И тут я отвечаю на поставленный автором Иеремией вопрос.

Ответ подсказан был в Библии, и, значит, жизнь свою проживая я по-божески, имея специальность защитника завоеваний Великого Октября. Господь то и дело за грехи тяжкие народы наказывал, трупами наполняя целые долины. В жизни земной кто Господь? Это у нас власть. Большевицкая партия во главе с выдающимся руководителем товарищем Сталиным имела полное право наказывать любого отступленца, что маршала, что мужика из деревни. Людям самим нравилось, что наказывают, потому что руку крепкую хоть жена, хоть народ всегда уважает. Народу и ложь нравится, и наказание, вот ведь какая хитрость! Партия большевиков, моя партия, не пошла по пути рассадинства лжи, а отправилась по пути искоренения лжи наказанием. Закон правильный был один, кто не за нас — тот против нас. А всем пострадавшим от власти в перспективе исторической становилось еще лучше, потому что в России невинно пострадавшие после всегда в святые переходят, начиная от великих князей Бориса и Глеба, подло братьями убитых. Мы же подло никогда не убивали. Вызовем, следовательно узнает все, приговор дадут, вот тогда раз, и все. Можете сделать замечание, что я выстреливал по знаку следователя, то есть до приговора. В этом я вижу проявление гуманности. На что человеку мучиться после объявления приговора, переживать? И какая разница, вопрос задаю, до ликвидации приговор написать или после? Сказано заранее Господом, у кого власть: убрать. Вот и тонка, а приговоренному лучше.

15. Скажу прямо, годы перед началом войны были трудными, работы много. И все равно я старался в свободное время учиться, увлекался техникой. Мною разработаны были чертежи и отправлены по начальству. Устройство такое, чтобы на настроение ликвидатора не влияло. Подводишь, ставишь агента империализма в металлическую камеру малого размера, устроенную порядочно под землей. Поднимаешься наверх, в секретной комнате включаешь рубильник. В камерке одна из стен надвигается по вертикали, для облегчения сопротивления скелета, до полного соприкосновения с другой стенкой. После стенка назад отходит, и масса счищается тоже механизированно, а из короба отправляется на мыловарение под видом остатков павшего от болезни скота.

Из-за меня рассорились. Один начальник настаивал меня в психиатрическую лечебницу отправить, другой говорил — представить к награде. Там у них снова чего-то поменялось, когда Ежова расстреляли или дели куда, и оба начальника делись куда-то. Я никогда не спрашивал ни у кого, кто где. Нету, значит нету. Мне что за дело?

16. Слышал я, предатель своей героической Родины автор Набоков какой-то насочинял книгу про палача и приговоренного, и будто палач подружиться должен с приговоренным. Вот вам налицо явное вредительство от автора, врага социализма, интеллигента. Он все врет. Попробуй подружись, рядом к стенке поставят. И сказал я: приговоренного следует ликвидировать, безоговорочно, помня свой долг перед рабоче-крестьянским государством. Защита Родины от врагов — дело всех и каждого.

17. К моему великому огорчению, вскоре началась героическая всенародная война против немецко-фашистских коварных захватчиков. Красноармейцы оказывали врагу стойкое сопротивление, а предатели-генералы из Белоруссии, снова интеллигенты-гады, стали отступать. Но вовремя они были наказаны в городе — секретно до сих пор. У нас тогда много всяких врагов по тюрьмам сидело, виноватых еще от знаменитых революционных лет. Меня, в те года офицера уже, с особым отрядом направили в командировки в разные города, убирали мы разную нечисть, способную на предательство, из тюрем и лагерей некоторых. Что говорить, трудно нам всем приходилось. Бывало, высыпались так плохо, что с пяти шагов семеро в одного мазали, добывать приходилось из нагана. К нашей чести необходимо сказать, приказы мы выполнили все.

18. И сказал я: в годы войны бдительность защитника Родины и революционных завоеваний должна повышаться многократно и беспощадность к предателям своей любимой Родины — тоже.

19. Видел по телевизору ко Дню Победы передачу. Женщина, героический ветеран войны, рассказывала, что с другими принимала активное участие в расстреле отступивших бывших своих товарищей. Повествовала, командир после расстрела спросил, сколько ей лет, и ей сказал: тяжело тебе жить будет. Командир соврал. Надо разобраться, письмо женщине той отправить, где, мол, командир тот сегодня? В партии ли? На каких народнохозяйственных постах? Может, командир был из гадов-интеллигентов? Женщина в телепередаче головой нормальная, внуков имеет и много наград. А обижать ее командиру не следовало, сам бы достал наган и отправил на тот свет предателей-отступленцев, подлых трусов, врагов героического полководца товарища Сталина.

20. И сказал я: предателей Родины, отступивших с воинского рубежа, покроем несмываемым пятном позора, и через тридцать лет и через шестьдесят, и детей их, и внуков, и племянниц и племянников, и родственников всех близких и дальних, и товарищей по службе воинской, по работе, врагов не распознавших и не сообщивших, куда следует, тем самым — прямых участников преступления!

21. Сегодня читал газету. Профессор один требует придумать разные экономические проекты, выбрать лучший из них и железной рукой, на что я с радостью обратил внимание особое, проводить в жизнь. Наверное, дорогой товарищ Горбачев умный и хитрый руководитель государства. Я все понял. Он про всех узнает до мелочей, и железной рукой претворит свои проекты в жизнь. Железной рукой! Да, правильно. Тогда мой опыт идеологическо-политической стойкости пригодится последующим поколениям вдвойне и втройне. Прошу прощения у читателей за невольное отвлечение от темы войны из-за такой радостной весточки в газете. Вижу, что некоторые профессора-интеллигенты поумнели и правильно знают, чего требовать и ставить на повестку дня.

22. Должен сказать, в героические годы Великой Отечественной войны вместе с другими воинами я принимал участие в освобождении Калмыкии. На одном собрании юные ленинцы, товарищи пионеры спросили меня: от кого я

освобождал Калмыкию? Верно, отвечаю, историю знаете, под немцем Калмыкия не была. Сами калмыки хотели организовать предательский удар в спину героической Красной Армии. Я лично с подчиненными мне офицерами и рядовым составом освобождал столицу Калмыкии город Элисту. За успешное и своевременное выполнение приказа был награжден одним из моих орденов. Всю боевую работу в годы войны описать не смогу, секретная. Перед концом войны, могу сказать, в звании подполковника был уже начальником одного из лагерей врагов народа. Место лагеря говорить не имею права, секретно, давал еще одну подписку тайны не разглашать. За разглашение государственной тайны оборонного значения — расстрел. В лагере утром каждый день как выстрою всех на плацу, как командую: смирно! Час ровно стоят. Иду вдоль строя. Кто покачивается, приказ нарушает, как дам в морду! Десять суток карцера без хлеба, на одной воде. Я вас научу, говорю, Советскую власть любить!

Не помню точно. Месяца может через четыре приехала комиссия с проверкой. У меня от всего наличного состава заключенных осталась в натуральности одна четверть. К сожалению, не могу назвать изначальной цифры принятого мной лагеря, секретно до сих пор. Узнавал у Павла Ивановича по телефону. Секретно, говорит. А он в той проверочной комиссии состоял, тоже журил. Кто, говорили мне, производственные задания выполнят будет? А я им резон: пуль сколько сберег для фронта, скажите? Да, меня сняли с начальника лагеря. Да, тяжело и обидно до сего дня, хотя и наградили меня тогда только медалью. Сколько я сэкономил тогда патронов, если начать считать затраты на патроны с изыскания руды? И сказал я: при самой дешевой рабочей силе лучше всего, когда и эта сила не нужна. Допустим, дешевая рабсила изыщет руду, изготовит оружие и патроны. А зачем? Чтобы ее же, рабсилу, пулями уничтожить? Вот ведь какое неумное решение. И добавьте сюда же затраты на питание и содержание другое.

23. В поликлинике районной видел скелет человека. Думал и все понять не могу за столько лет, как от маленькой пули жизнь в человеке кончается?

Один советский воин, вернувшийся из братского Афганистана, говорил, что изобретены новые пули. Если пуля попадет в человека, в любое место, она ходит внутри тела по костям, пока скелет не разрушит полностью. Гарантированная смерть, и можно стрелять особо не целясь. Замечательное изобретение, мне бы такие пули раньше, в годы напряженного труда на благо Родины.

24. И сказал я: всякий народ должен быть уверенным, что его накажут, и всякий человек, имеющий гражданское подданство. И нам, ветеранам, глубоко и всесторонне знающим практическое карание врагов народа, нужно всячески цементировать связь поколений.

Беседовал с одним молодым человеком. Он убежден, что в стране сейчас врагов много и их нужно расстреливать. Вот! Есть кому передавать опыт! Я объяснил ему: ходи на всякие митинги и неформальные собрания, демонстрации, составляй списки. Старайся узнать адрес и место работы отщепенца любого. Все данные приноси мне для систематизации и внесения в каталог. Он согласился. Надо выявить всех, всех врагов, сказал он. Дал ему свой фотоаппарат, с фотографией вносить в каталог лучше. Эх! Некогда нам, ветеранам, на покой и отдых! Дела, дела...

25. Павел Иванович договорился и прислал за мной служебную машину. Водитель передал талон на заказ-приглашение. Поехали. Я выкупил и привез домой:

1. Мясо говяжье с костями, сорт первый — 2 кг.
2. Мясо баранины австралийская, нежирная — 2 кг.
3. Колбаски охотничьи — 1,5 кг.
4. Кофе растворимый производство Бразилия — 2 банки.
5. Кролик тушеный, ФРГ — 3 банки.
6. Кура венгерская — 1 штука.
7. Перец фаршированный мясом — 2 банки.
8. Кета холодного копчения — 1,5 кг.
9. Сельдь исландская — 2 банки.

10. Торт «Птичье молоко» — 1 шт.

11. Конфеты «Мишка на Севере» — 2 кг.

Пока труд свой заканчиваю. И сказал я: читай, молодой человек, настоящий кто патриот своей страны. Может, будет и продолжение.

Заключительная часть.

Я смотрел в научных книгах, там в конце пишут: заключительная часть. Я тоже решил. Нашел одно проклятие, ранее используемое римско-католической церковью. Потому как я офицер в отставке и член партии тоже давно, что касается религиозности, я выбросил. Так что доработал до вида, нужного для настоящего времени, раз пока нет расстрелов как тогда. Нужно для всяких врагов-неформалов, и кто в столице нашей Родины у памятника Пушкину собирается на нынешнем историческом этапе недоволен. К примеру, расстреливать пока нельзя. Что тогда, спрашивается? Рекомендую предавать анафеме, вношу свое конструктивное, как сейчас принято говорить, предложение. А религиозные попы пусть молчат, что у них, мол, текст я украл. И сказал я: что годится для дела, то и беру. Читайте и запоминайте, как действовать на нынешнем сложном историческом этапе по пути к строительству объектов для коммунистического будущего. Прошу рассмотреть, выучить и применять безотлагательно.

Анафема.

Во имя силы и славы дорогого товарища руководителя государства (фамилию вставить, проверив достоинство кандидата) мы провозглашаем, что отлучаем от общества и предаем анафеме того злодея, который именуется (ФИО, год рождения, место рождения, когда и кем выдан паспорт, место прописки и место работы, семейное положение, образование подчеркнуть) и изгоним его от себя. Да будет он проклят всюду, где бы ни находился: в доме, на заводе, на сельхозработе, в учреждении и в своей семье. (Для несовершеннолетних добавка — в школе и в спортивной секции, дворовом клубе). Да будет проклят он в жизни и даже в час смерти. Да будет проклят он во всех делах своих, когда он пьет, ест, алкает и жаждет, когда постится, спит или бодрствует, когда гуляет или отдыхает, когда сидит или стоит (имею в виду — везде), когда раненый или истекает кровью. Да будет проклят волос его и мозг его, мозжечок, виски, лоб и уши его, брови, глаза, щеки, нос, кисти рук и руки его, пальцы, грудь, сердце, желудок, поясница, пах его с прилегающими частями бедра его. Колени его, ноги и ногти его. Я бы сказал, еще нервная система и система, которая обменивает вещества в организме. Чтобы болезни грызли его от макушки головы до подошвы ног. Чтобы Руководитель государства проклял его всем своим могуществом, величием, авторитетом. И чтобы все настоящие товарищи обратились на него, чтобы проклинать до тех пор, пока не даст он нам открытого покаяния при всех, вход свободный. (В исключительных случаях по особым пропускам).

Да будет так, да будет так! Вперед, к новым вершинам, товарищи!

Наказанному рекомендую в паспорт особый штамп поставить, выдать удостоверение и нагрудный знак для постоянного им ношения в людных и безлюдных местах, всегда. Запретить пользоваться общественным транспортом, бесплатной государственной медициной, кинотеатрами и просто театрами, а также посещать бесплатные библиотеки и другие места общего пользования, включая туалеты. Прошу ввести в действие срочно, имея в виду новую меру в защиту дорогого...

... Новый евангелист задумался надолго, поставить ли полосу для вписания фамилии, имени и отчества, точками ли линию изобразить, волнистою чертой подвыделить или рамку красивую нарисовать? Пусть, пусть думает.

24.10.88 год.

Вятка.

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

БРЕД ОРФЕЯ

Я в форме амфоры укладывался в руки
Весталки-девочки, которая стекала
Ручьями сладкими на древние фелуги,
На виды Фракии, на лядвии Тантала,

Где пламя Тартара нам очи опалило,
Качая плачем эвридическое тело,
И дико бредили поэты: О, Леила,
Гекуба бледная, немая Филомела . . .

От древних неженков, от тел былых жеманниц
Остался тонкий чад и черный прах ресничек.
Горчила речь во рту, и губы разжимались:
«Гекуба-девочка, гречанка, Эвридиче . . .»

• • •

Посредине крик витрин,
А на крыше птичьи гамы.
Чуть пониже спят пижамы
С горожанами внутри.

Спит мохеровая кофта,
Сладко дышит нашатырь.
На стене желтеет фото,
Где любовник — богатырь

Штангу тяжкую сжимает,
Как железную жену,
А в карманах три ребенка
В виде трех пудовых гирь.

ИЗ ЦИКЛА «13 ПЕЙЗАЖЕЙ»

Пейзаж II, студенческий

Косыми снами надвигается экзамен
Над палисадниками секса и весны.
Часы качаются учеными усами,
Не достигая предрассветной седины.

Без Архимеда небо сыро в Сиракузах.
Простуда в легких зажигает уголек.
Экзаменатор спит. Сопит гипотенуза,
И катет катету целует уголок.

Пейзаж VI, ноктюрн

Ночные простыни Медведицу щекочит.
На чистой скатерти ни чарки ни свечи.
Насыпь из баночки щепотку многоточий
И боли в печени на память заучи.

Пикассо девочку оденет в голубое,
Прикроет черепом горячие мозги.
Из гроба вылезут безгубые гобои
И не оставят нам ни музыки, ни зги.

Пейзаж VII, фламандский

Селедка Снайдерса, и Босхова медуза,
Головоножек слепорожденный балет —
Улада Брейгеля, и персями на пузо
Спускался рубенсовской пассии портрет.

Стрекозы падали на лапы инфузорий.
Жучок червю хмельную чару подносил.
Рембрант подсчитывал мечи в ночном дозоре.
К водопроводчику стучался блудный сын.

Пейзаж IX, петербургский

Когда заря невнятно тлеет папироской
И Грибоедов спит, закованный в гранит,
Дежурит тень окровавленная Перовской,
Как леди бледная, у Храма-на-крови.

Бульжной чешуей зашевелился Невский,
Кипит торговля пирожками на углу.
Сшивает адские записки Достоевский,
Втыкая в текст Адмиралтейскую иглу.

Пейзаж XII, буколический

На тучных пастбищах мычат виолончели,
Цветут салаты, натюрморты и цветы.
В читальне почвы дремлют черви-книгочеи,
И блеют козы, со стрекозами на ты.

В осеннем небе пролетает мясоптица.
Цивилизованный телец, коровий сын,
На унитаз эмалированный садится,
И гадит голубь на старинный клавесин.

Пейзаж XIII, последний

Часы заплыли салом. Время на ремонте.
Клозет забит передовицами газет.
Погасла туба на густой басовой ноте.
В подземный погреб опустился Горсовет.

На красном лбу горит волдырь последней ласки.
В колодце пиковая дама хмурит бровь.
Сдавили горло узловатые повязки,
И стынет в банке маринованная кровь.

1982 г.

ГАЛАНТНЫЕ СТРОКИ

Эти косы красиво склоняются в пассиве
На косые курсивы моих посяганий.
Эти ноздри пугливы, а груди опасливы,
И беседа робеет босыми губами.

Как мясная косуля застыла в касыде,
Ароматами вкуса в корсете романса,
Мы ленивые пальцы тянули к посуде,
Судаками пасуя на сцене фаянса.

Пользуясь случаем, приносим извинения автору за ошибочное написание его фамилии в предыдущей публикации (декабрь, 1988).

ЛЕОНИД МОГИЛЕВ

СМЕРТЬ КОТА КОРОВЬЕВА

РАССКАЗ

Стояли невыносимо долгие вечера. Зёга благополучно прожил день настолько длинный и пустой, что блестящая перспектива прожить еще и вечер приводила его в состояние томительной ненависти ко всему существу. С утра он проявил последнюю халтуру, потом долго мыл кюветы, после щеточкой пальцы, так, чтобы ни следа, но след оставался...

Зёга был фотографом для торжеств. До недавних пор он работой не тяготился и относился к жизни хорошо и весело. Летом было море. Всего в трех автобусных остановках. И ремесло страдало, поскольку тогда Зёга никаких торжеств не одобрял. Он лежал, в одиночестве, во дворе спасательной станции, читал журнал «Фотография в СССР», по временам пересекал пляжную зону, упакованную разнокалиберными телами, входил в море метров на пятьдесят, и когда оно становилось достаточно глубоким, плыл. Заплывал он за буи, но так как пользовался покровительством незначительной прослойки населения, спасающей, чаще всего безуспешно, наши души, его никто не возвращал.

Плавал он долго. Вернувшись на сушу, молчаливый и торжественный пересекал лежбище и водружался на деревянный щит, во дворе двухэтажной и двуглавой, построенной во времена далекие и мрачные станции и лежал, не вставая, так долго, как это ему хотелось. Спал. Снова читал журналы. Случалось, гулеванил, пил со спасателями, крутил легкие, ненавязчивые флирты с лежбищенскими дамочками, иногда успешно, а иногда и нет, а после всегда возвращался на свой щит. Щит этот когда-то был покрашен в служебный, красный цвет, но теперь краска осталась на памяти только долголетних работников станции, а доски были отполированы поколениями лежавших и гладили тело так, как это может делать женщина, когда у нее незлобивое состояние души.

Был Зёга у матери один. А она все как-то не могла бросить работу на судах дальнего плавания, и большую часть года Зёга проживал в двухкомнатной квартире

в одиночестве. Вернее, делил жилплощадь с Котом Коровьевым, а временами вел с ним совместное хозяйство. Фамилию свою кот получил по прямой аналогии с персонажем всемирно известного романа. Был Кот редкого размера, необыкновенной пушистости, фантастического ехидства и редкой невоздержанности. Едва утром оказавшись во дворе, Коровьев своим дьявольским взглядом высматривал смазливую особь и тут же овладевал ею. Впрочем, время суток и года роли абсолютно не играло. И около подъезда, нужно сказать, все время слонялись какие-то киски. Во дворе играли дети, и вязали шапочки старушки. Старушкам публичное соитие наших меньших братьев и сестер не нравилось, а детям было любопытно.

Зёга пытался было усовещать своего любвеобильного товарища, не кормил его дня по два, а то и по три, но тщетно. Впрочем, иногда наступали необъяснимые отрешения Кота от бытовых реалий. Тогда он ложился на коврик у платяного шкафа и думал. И даже, когда Зёга вставал ночью испить отвара из заповедных трав, собираемых и опознаваемых им по превосходному определителю растений региона, даже тогда он обнаруживал, что Кот лежит с открытыми глазами и думает. Глаза у Кота светились, и в них видел Зёга бездны миров и другие космические глубины. Зёга присаживался рядом, поглаживал Кота по заповедным местам на спине, чесал у него за ухом, «прохаживался» потом по животу и приговаривал: «Ты не майся, дяденька, скоро, даст бог, дожди пойдут».

Дожди оба любили необыкновенно. В день, когда начинало лить из небесной прорвы, когда начинало моросить и капать, они усаживались у окна. Зёга сооружал из всякой кухонной утвари натюрморт и писал его масляными красками. Кот провожал взглядом каждый мазок и переживал.

Вообще-то Зёга был художником. Окончил когда-то неплохое училище. Но потом по необъяснимой причине художество забросил и стал фотографом на свадьбах, похоронах, а также на других житейских мероприятиях.

Когда кухонная утварь каким-нибудь новаторским образом была воплощена на холсте, Зёга собирал краски, мыл кисти, и начиналось у них с Котом бесконечное бдение. Шел дождь, то переставал, то вновь начинался, то вдруг выявлялось солнце, а то, словно осознав свою полную сейчас ненужность, исчезало за облаками, а Зёга все говорил, говорил, говорил, а Кот слушал, поддакивал, временами возражал. И был в такие дни Коровьев добрым и торжественным.

Но совсем недавно он был отравлен неизвестным гражданином и вчера скончался дома, на коврике у платяного шкафа, хотя должен был, согласно традициям, по которым птицы осенью летят на Юг, а коты встречают смерть в одиночестве, уползти в какой-нибудь подвал и содохнуть там. Когда Зёга, удивленный необычайной долгим отсутствием Коровьева стал подозревать неладное, тот нашелся около входной двери. Он лежал около нее и, не имея сил дать знать о себе, ждал. Кот выглядел ужасно. В его свалывшейся шерсти сновали блохи, которых он даже не пытался достать. Зёга засуетился, как мог привел Кота в порядок, стал заставлять его пить молоко и воду, но пить его товарищ не смог.

В том, что Кот отравлен, сомневаться не приходилось. Были на то основания.

Кот лег на свой коврик у платяного шкафа. Ночью Зёга часто вскакивал, смотрел, не лучше ли другу. Тот лежал. Дышал доверчиво и недоуменно. Глаза его теперь были закрыты. Коли он явился домой, а не уполз в какую-нибудь дыру, Зёга был почти уверен, что Коровьев выживет. Но когда под утро он встал погладить кота, тот был мертв. Тогда Зёга представил себя мертвым котом и заплакал.

Утром явился Курбаши. Находясь дома, Зёга дверь никогда не запирает ни ночью, ни днем, чтобы гость не тратил времени на звонки и церемонии.

— Что я вижу? Скорбь у тела усопшего друга? — Курбаши был парнем понятливым. — Там, в параллельных мирах он выжил и уже взобрался на очередную любимую. Приношу свои глубокие соболезнования. Кота действительно жалко. — Зёга лежал на диване лицом к стене и думал о море.

— Нужна лопата. Будем хоронить, — распорядился Курбаши.

— С роду у меня лопат не было.

— Тогда растворим его в химикалиях. Есть у тебя серная кислота? — Курбаши вообще-то был добрым парнем, но считал, и справедливо, что нельзя распускать скупые мужские слюни.

— Тогда я прогуляюсь на ближайшую стройку. А ты лежи. Предавайся скорби, — и он покинул жилище, под крышей которого поселилась печаль.

Курбаши, у которого, вообще-то, было много дел, требовавших скорого выполнения, не мог бросить товарища в беде.

На стройке ему лопаты не дали, а сказали во след, что котов сейчас развелось столько, что их просто нужно класть под пресс или бросать живьем в топки котлов, и так, на сэкономленном топливе строить наше дальнейшее светлое будущее. Курбаши не стал спорить со злыми строителями будущего, а просто покинул их и начал обходить микрорайон в поисках инструмента.

Микрорайон этот жил своей обычной утренней жизнью. Все, кто хотел и мог, трудились в цехах и конторах, обвешивали в магазинах, красили стены в нейтральные цвета, учились в начальных и высших школах, а также в ПТУ и просто занимались самообразованием. Неистребимые бабульки сидели на лавочках, плели свои тенденциозные речи и, оглядывая мир, замкнутый для них многоэтажками, тянулись к солнышку. Только Курбаши перемещался по дворам и улицам с никчемной для постороннего взгляда целью: получить во временное пользование шанцевый инструмент для совершения обряда захоронения Кота Коровьева. Тут-то Курбаши и увидел гражданина с мойвой.

Ласковый гражданин в шляпе и спортивном костюме

кормил мойвой плюгавую кошку. Был он очень ласков, но не очень щедр. Кошка хотела еще, но гражданин уже уходил. Она было побежала за благодетелем, но остановилась, словно бы в недоумении и отправилась прочь. Тогда Курбаши пошел за дядей в шляпе. А тот аккуратно обошел микрорайон и оделил каждую встречную хвостатую тварь рыбкой из бумажного кулька. То, что осталось в кулке, он вывалил на асфальт у подвального окошка, а саму бумажку бросил. Это-то окончательно и убедило Курбаши в злом умысле. Он подкрался к рыжей, невыразительной котяре, жравшей дареное, и так на нее крикнул, что та выронила мойву из пасти и бросилась прочь. Потом он собрал оставшееся на асфальте, завернул опять в кулек и едва успел догнать гражданина в шляпе, когда тот поднимался в свою квартиру на пятом этаже светлого, но не очень высокого дома. Курбаши запомнил номер квартиры и мигмом слетел вниз. Вскоре он украл лопату, твердо пообещав себе вернуть ее после на место и прямехонько задвинул к Зёге.

Зёга жил на первом этаже и могилу вырыл прямо под лоджией. Пришлось вынуть из ямы немало битого кирпича и щебня, хотя она и была глубока. Дно Зёга выстелил травой и листьями. Кота положили в наволочку и опустили на дно. Сверху прикрыли тело листом картона с одним из натюрмортов и засыпали Кота Коровьева землей, совсем, как человека. Курбаши соорудил холмик, но Зёга его сравнял. — Не нужно ерничать, — пояснил он.

Они вернулись в квартиру. Сели на кухне.

— Чем это от тебя воняет? — вежливо поинтересовался Зёга.

— Рыбой. Очевидно, отравленной. — Курбаши сходил в прихожую за пакетом. Рыбу высыпали на газету. Брюшко у каждой было подпорото и в каждую аккуратно был всунут белый порошок.

— Сука, — обмолвился Зёга.

— Я его до квартиры довел. Добрый такой дядя. В шляпе. В спортивном костюме и без живота. Жизнь видно любит.

Курбаши смахнул отраву в мусорное ведро, вымыл руки, поставил на газ чайник... Зёга ушел в комнату и лег. Курбаши подождал, пока закипит вода, заварил чай, налил в две кружки и пошел к Зёге.

— Как же я теперь без Кота буду? Хоть домой не ходи, — молвил Зёга, потом помолчали минут десять, и Курбаши не в силах более терпеть чужой тоски, сказал, вдруг не подумав: «А мы его тоже отравим».

— А как?

— А он, наверное, пиво пьет по субботам. Мы за ним в очередь встанем. Ты его отвлечешь, будто тараньку предложишь, а я сыпану крысиного яду в кружку.

— Чтоб такого отравить, много яду нужно. Он почувствует.

— А другого яду где же взять? Другого нету.

— Хорошо бы цианистого калия.

— А потом нас найдут и по совокупности проделок осудят к исключительной мере социальной защиты.

— Много они знают.

— Больше, чем ты думаешь.

— Конечно. Совершенно ясно, что человек — не кот. Его так просто не задушишь. Но ведь бывают коты, которые гораздо лучше некоторых людей. Вот в чем дело.

— Ну, это смотря кто душит и кого...

— Ты замолчал бы лучше, — и замолчали оба.

— Может вина выпьем? — предложил Зёга.

— Если мы вина выпьем, мы его точно отравим, этого в шляпе.

— А давай уьем его понарошке. Морально.

— Насчет морали ты это здорово придумал. Мы в ней ой как сильны.

— Короче, иди за мойвой. Немного погодя мы ее жарить будем.

— Я жареную не ем. Я ем только копченую.

— А ты ее и не будешь есть. Ее будет вкушать наш новый друг-Отравитель.

— А он не станет есть.

— А мы его заставим . . . Мы с собой подводное ружье возьмем. — Это как у неореалистов? Как макаронами? До заворота кишок, что ли кормить его этой рыбой?

— Мы ему скажем, что это та рыба, которую он котам скармливает. Будто бы мы ему ее собрали. Животы подпорем и пакет тот из ведра сейчас достанем. — Тут Курбаши развеселился и попросил у Зёги денег.

— У тебя что, двадцати копеек нет?

— Нет, — скромно ответил Курбаши.

— Вот тебе рубль. Купи полкило и поваляй ее по асфальту для пожоести. А сдачу получай в безвозмездный дар. По случаю печального дня.

Курбаши ушел, а Зёге стало опять мерзко, одиноко, безкотово. Он вышел на лоджию и посмотрел на свежую могилку.

— Спи Коровьев. Печаль моя светла. Спи спокойно, дорогой человек.

Курбаши не возвращался долго. Видно, стоял в очереди или слонялся где-то по своей курбашиной привычке. «До чего же несуразный человек», — озлился Зёга. Он еще подождал немного и уснул. Спал долго. Примерно час. А когда проснулся, увидел на полу спящего Курбаши.

— Вставай немедленно. Что мы, совсем рехнулись? Спим, где не попадая, — закричал Зёга и ушел на кухню.

— Курбаши! Ты что за чай заварил?

— Да тот, что в банке.

— В красной?

— А в какой же еще?

— Ты, собака, снотворный чай заварил. Гнида. Там иван-чая половина. А я тоже хорош. Ничего не понял. Этого зелья хлопни и спи, хоть сутки. Сомлели бы тут вовсе. Расслабились. Ну, собирайся. Можешь холодный душ принять и веди.

— Куда тебя вести?

— К убийце.

— А он нас не пустит, — неожиданно пошел на попятную вдохновитель идеи.

— А мы сантехниками скажемся.

— А он удостоверение требует.

— А мы его с порога . . .

— А он не один.

— А если он не один, мы всю эту палаческую семью свяжем и заставим жрать эту рыбу.

И единомышленники отправились карать убийцу. Ружье для подводной охоты положили в большую сумку. Туда же Зёга сунул разводной ключ, моток бечевки и пакет с рыбой. Зёга был большой выдумщик. В руки Курбаши он сунул старый тройник-смеситель, а на голову ему напялил кепарик. Бельевой капроновый шнур чуть не забыли.

Отравитель впустил их сразу. В квартире он был один. И тогда Зёга в момент скрутил его, а Курбаши засунул в рот Отравителю полотенце, подвернувшееся под руку. Затем друга животных посадили в кресло и накрепко прикрутили капроновым шнуром. Затем Зёга вынул ружье, зарядил его и взвел курок.

— Пройдет сквозь твой живот, сквозь кресло и воткнется в стену. А теперь я хочу посмотреть, дяденька, в твои добрые глаза. Предупреждаю насчет сопротивления. Стреляю без предупреждения. То же относится к крикам «в ночи».

Курбаши вынул кляп изо рта хозяина, но тот пока не кричал, а просто переводил добрые глаза с одного злоумышленника на другого.

— Вам деньги нужны? — спросил он наконец.

— Нам нужны другие предметы вещественного мира, как-то: подсолнечное масло, сковорода и спички.

Зёга сидел на полу, ружье лежало на коленях, жалом в сторону кресла, где был привязан подопытный человек-убийца.

— Зачем масло, попробуем обойтись без масла. Деньги в . . .

— Нам именно масло, — прервал убийцу Курбаши и захолопотал на кухне.

— Скажи-ка, дядя, зачем ты травишь животных? Ты зачем добровольно взял на себя функцию божественную и неподвластную времени?

— Идиоты, — закричал дядя, — развяжите немедленно!

— Сидеть, — прервал Зёга недозволенные речи, и жало уперлось в живот, в тренированный живот Отравителя.

— Здоровая у него сковорода. Я в жизни такой не видал, — появился в комнате Курбаши.

— А если кто войдет? — спросил дядя, — Если кто звонить станет?

— А мы запремся и будем отстреливаться. Только мне кажется никто не войдет. Ты один во всем мире. Кто же с тобой жить станет? От тебя и дети откажутся. Сидеть! Кончай там все, Курбаши, побыстрее . . .

— Вы что делать хотите? Если масло в глотку лить, так лучше сразу убейте.

— Ну, неужели? — высунулся из кухни Курбаши.

— Ты сейчас будешь жрать рыбу. Ту, что разбросал в районе, мой друг. Ее сейчас поджарят. Слегка. И будешь жрать. Узнаешь кулек?

— Да вы, что, твари малолетние? Да я вас потом!

— Потом суп с котом. Сидеть!

— Сейчас, сейчас. Я ее перчиком приправлю, — веселился от души Курбаши.

— Перчиком разлюбозное дело. И зеленью. Есть у него там зелень?

— Есть югославская приправа. «Аппетит», — объявил Курбаши.

Через минуту он появился в переднике, с полотенцем на руке. Рыбку он переложил на тарелку, рядом Зёга увидел горку майонеза, лужицу томата, кружки жареного лука.

— Ну, ты и чудесный, оказывается, человек, — похвалил он друга.

— Ресторан господина Септима. Ешь, сука!

— Сидеть!

— Ты же культурный человек. Кушай, пожалуйста, — попросил Курбаши.

— Считаю до пяти, — подвел итог дискуссии Зёга.

Отравителю развязали руки. Зёга щелкнул предохранителем, и представление началось.

— Сегодня мы с товарищем бежим в одну из скандинавских стран. Канал абсолютно надежен. Лучше ешь. Иначе немедленная смерть. А так еще помучаешься. Посмотришь на мир счастливыми глазами. Авось не сдохнешь. Вон какой крепкий. Мужичок-боровичок. Вообще-то ты что туда клал? Какой яд? Не отвечаешь? Ну, ладно. Может быть, он слегка разложится после термообработки. Тебе вилку дать или руками? Правильно. Руками надежнее. И слаще.

Он ел быстро. Вталкивал в себя рыбешек. Курбаши немного присушил их, и они хрустели на зубах. По подбородку отравителя стекало масло.

— Так, — сказал Зёга. — Аппетит завидный.

— Теперь можно встать? — с надеждой спросил хорошо поевший человек.

— Вставать может и не придется. Подождем минут тридцать, — решил Курбаши. — Или пятнадцать.

Отравитель теперь сидел совсем спокойно, положив руки на колени. Курбаши включил проигрыватель. Так себе штука. Старая и недорогая. Да и пластинок почти совсем не было.

— Будешь подыхать под музыку диско. Спляшешь Железное Болеро. Краковяк вприсядку. — И тогда привязанный к креслу человек сунул пальцы в рот, ожидая выстрела. Но выстрела не было. Это ружье давно не работало. Но он не знал этого. И его стало рвать. Он упал вместе с креслом и его рвало прямо на ковер . . . Он лежал на боку, повернувшись спиной к жалю подводного ружья и прикрывал спину креслом. И все еще совал пальцы в глотку.

— Вот и лежи теперь в дерьме, — сказал Зёга и они вышли, захватив свои вещи и аккуратно затворив за собой дверь.



ЯНИС ПЛЕПИС. 1939. ГРАВЮРА К РОМАНУ АЛЕКСАНДРА ГРИПСА «МЕТЕЛЬ ДУШ», ПУБЛИКУЕМЫЙ В ЖУРНАЛЕ «АВОІС».

Оформитель I, IV обложки — ОЯРС ПЕТЕРСОНС
«РОДНИК», 1989, № 5, 1—80

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,

